**Хлеб ранних лет**

Генрих Белль

I

Хедвиг приехала в понедельник, и в то утро, если бы хозяйка не подсунула мне под дверь письмо отца, я с удовольствием накрылся бы с головой одеялом, как часто делал прежде, когда жил еще в общежитии для учеников.

Но хозяйка закричала мне из коридора:

— Вам письмо из дому!

И когда белоснежный конверт, просунутый под дверь, скользнул в серую мглу, еще окутывавшую мою комнату, я в испуге соскочил с постели, ибо на конверте вместо обычного круглого почтового штемпеля была овальная печать железнодорожной почты.

Мой отец ненавидит телеграммы, и за все семь лет, что я живу в городе один, он только дважды послал мне письма с овальной печатью: в первом сообщалось о смерти матери, во втором — о несчастье, случившемся с самим отцом, — он тогда сломал себе обе ноги; это письмо было третье, я вскрыл его и, прочтя, вздохнул с облегчением.

«Не забудь, — писал отец, — что дочь Муллера Хедвиг, для которой ты снял комнату, приезжает сегодня с поездом 11. 47. Будь добр встретить ее; постарайся купить букетик цветов и обращайся с ней полюбезней. Представь себе, в каком состоянии будет эта девушка: она впервые приезжает одна в город и не знает ни улицы, ни района, где ей придется жить; все ей у вас чуждо, ее напугает большой вокзал и сутолока среди дня. Подумай, ей двадцать лет и она едет в город, чтобы стать учительницей. Жаль, что ты больше не имеешь возможности регулярно навещать меня по воскресеньям, очень жаль.

С сердечным приветом, отец».

Позже я нередко думал о том, как бы все сложилось, если бы я не встретил Хедвиг на вокзале: я бы вошел в совсем иную жизнь, как люди по ошибке входят не в тот поезд; я бы вошел в жизнь, которая раньше, до знакомства с Хедвиг, казалась мне вполне сносной. Так, во всяком случае, я называл ее, рассуждая сам с собою, но эта жизнь, ожидавшая меня, словно поезд на другой стороне платформы, куда я чуть было не сел, эта жизнь — теперь я мысленно переживаю ее — стала бы для меня адом, хотя представлялась мне прежде вполне сносной; в своем воображении я вижу себя улыбающимся и разговаривающим в той жизни, как видишь иногда во сне своего брата-близнеца, которого никогда не было на свете; видишь, как улыбается и разговаривает этот брат, существовавший, быть может, всего какую-то долю секунды, пока не погибло семя, из которого он мог бы зародиться.

А тогда я просто удивился, что отец послал мне письмо спешной почтой, и не знал, смогу ли выбрать время, чтобы встретить Хедвиг, потому что с тех пор, как я занимаюсь ремонтом и проверкой стиральных машин, субботы и понедельники ·— для меня самые хлопотливые дни. По субботам и воскресеньям в свободные от работы часы над стиральными машинами мудрят мужчины; они хотят сами испытать качество и действие этого дорогостоящего приобретения, а я сижу у телефона и жду вызовов, часто на самые далекие окраины. Стоит мне только войти в дом, и я уже чувствую запах гари: перегорели контакты и провода; или же я вижу машины, извергающие такие потоки мыльной пены, словно дело происходит в мультипликационном фильме. Меня встречают совершенно измочаленные мужчины и плачущие женщины; им надо было нажать несколько кнопок, но они либо забыли об одной из них, либо по ошибке нажали ее дважды; наслаждаясь собственной небрежностью, я открываю сумку с инструментами, выпятив губы, осматриваю неисправности, спокойно орудую со всякого рода рычажками, выключателями и контактами и. разводя мыльный порошок, как требуется по инструкции, с любезной улыбкой снова разъясняю хозяевам устройство стиральной машины, а потом включаю ее и, моя руки, вежливо выслушиваю беспомощный лепет хозяина о технике, а он счастлив, полагая, что я принимаю всерьез его технические познания. Зато потом, когда я подаю ему на подпись бумажку, где значится, сколько времени я потратил на ремонт и сколько километров мне пришлось проделать до места аварии, хозяин в большинстве случаев не очень вникает в суть дела, и я преспокойно сажусь в машину и отправляюсь по новому вызову.

Я работал по двенадцать часов в сутки, включая воскресенья; иногда встречался с Вольфом и с Уллой в кафе «Йос»; по воскресеньям ходил на вечернюю мессу, обычно опаздывая, и с тревогой старался угадать по жестам священника, не приступили ли уже к освящению даров, облегченно вздыхал, если оно еще не начиналось, затем устало опускался на первую попавшуюся скамью и порою засыпал, просыпаясь лишь тогда, когда звонил причетник. Временами я ненавидел себя самого, свою работу, свои руки.

В тот понедельник я с утра чувствовал себя усталым; меня ожидало еще шесть вызовов с воскресенья, и я слышал, как хозяйка ответила в передней по телефону: — Хорошо, я передам ему! Сидя на постели, я курил и думал об отце. Я представлял себе, как он шел вечером по городу, чтобы отправить письмо с поездом, который останавливался в Кнохта в десять часов; я видел, как он проходил по площади мимо церкви, потом мимо дома Муллера, через узкую аллею, обсаженную кривыми деревьями; как, чтобы сократить себе путь, открывал большие ворота и темной подворотней проходил во двор гимназии, подымая взгляд к окнам своего класса на желтой стене школьного здания; как он обходил дерево посредине двора, от которого всегда несло мочой собаки швейцара; я видел, как отец отпирал маленькую калитку, — ее обычно отворяли по утрам от семи пятидесяти пяти до восьми, когда к ней устремлялись иногородние ученики с вокзала напротив школы. У калитки в это время стоял швейцар Гоншейд, наблюдая за тем, чтобы никто из гимназистов, живущих в городе, не проскочил вместе с иногородними; и Альфреду Грусу, сыну начальника станции, приходилось совершать длинный кружной путь по пустынному кварталу только потому, что он не жил за городом.

В летние вечера красное солнце повисало на сверкающих окнах классов. В тот последний год, что я провел в Кнохта, мне часто приходилось проделывать по вечерам весь этот путь вместе с отцом; мы относили письма и посылки для матери к поезду, который шел в противоположном направлении и в половине одиннадцатого останавливался в Брохене, где мать лежала в больнице.

Возвращаясь домой, отец чаще всего выбирал ту же дорогу, через школьный двор, ибо таким образом ему удавалось сократить путь на четыре минуты и миновать квар-. тал с уродливыми домами; и еще потому, что он в большинстве случаев прихватывал в своем классе то книгу, то стопку тетрадей. Вспоминая эти летние воскресные вечера в гимназии, я как бы впадаю в оцепенение: я вижу коридоры, потонувшие в серой мгле; вешалки перед классными комнатами, где одиноко висят две-три фуражки; свеженавощенный пол; тусклые отсветы на серебристой бронзе памятника павшим солдатам и рядом большой белый, как снег, четырехугольник на стене, где раньше висел портрет Гитлера; а возле самой учительской светится кроваво-красный воротник Шарнгорста.

Однажды я хотел стянуть бланк аттестата с печатью, лежавший на столе в учительской, но бланк был таким па-радножестким и так сильно зашуршал, когда я попытался сложить его и спрятать под рубашку, что отец, стоявший у шкафа, обернулся, сердито выхватил его у меня из рух и кинул обратно на стол. Он не стал разглаживать смятую бумагу и даже не отчитал меня, но с тех пор мне приходилось дожидаться его в коридоре, наедине с красным, как кровь, воротником Шарнгорста и красными губами Ифигении, чье изображение висело возле дверей старшего класса; я должен был довольствоваться темно-серой мглой в коридоре да еще беглыми взглядами через глазок в классную комнату старших гимназистов. Но через втот глазок была тоже видна только темно-серая мгла. Однажды я нашел на свеженавощенном полу червонного туза: он был такого же красного цвета, как губы Ифигении и воротник Шарнгорста; сквозь запах свежей мастики на меня вдруг пахнуло запахом школьных завтраков. Я ясно различал круглые следы от горячих котлов на линолеума перед классными комнатами, ощутил запах супа, и мысль о котле, который в понедельник поставят перед нашим классом, пробудила во мне такой голод, что его не в силах были заглушить ни красный воротник Шарнгорста, ни красные губы Ифигении, ни красный червонный туз. Когда мы пускались в обратный путь, я просил отца, чтобы он заглянул к булочнику Фундалю, пожелал ему доброго вечера и как бы между прочим попросил у него буханку хлеба или остаток темно-серого пирога с начинкой из красного повидла, такого же красного, как воротник Шарнгорста. Возвращаясь домой по тихим темным улицам, я разыгрывал весь диалог, который отец должен был вести с Фунда-лем, чтобы придать нашему визиту видимость случайности. Я сам удивлялся своей изобретательности, и чем ближе мы подходили к булочной Фундаля, тем сильнее разыгрывалось мое воображение и тем совершенней становился вымышленный мною диалог между отцом и Фундалем. Отец энергично качал головой, потому что сын Фундаля был его учеником и учился плохо, но, когда мы подходили к самому дому булочника, он в нерешительности останавливался. Я знал, как тяжело ему все это, но продолжал долбить свое, и каждый раз, сделав у двери Фундаля резкий поворот, словно солдат из кинокомедии, отец входил в дом и звонил к Фундалям; это происходило по воскресеньям, в десять часов вечера, и всегда в это время разыгрывалась одна и та же немая сцена: кто-нибудь, только не сам Фундаль, открывал дверь — и отец был слишком смущен и взволнован, чтобы произнести хотя бы «добрый вечер»; тогда сын Фундаля, его дочь или жена, словом тот, кто открывал дверь, кричал, повернувшись лицом к темной передней:

— Отец, это господин учитель!

И мой отец молча ждал, а я, стоя позади него, мысленно отмечал запахи ужина Фундалей: пахло тушеным мясом или жареным салом; когда была открыта дверь в погреб, до меня доносился запах хлеба. Потом появлялся Фундаль, он проходил в лавку и выносил оттуда незавернутую буханку хлеба, протягивал ее отцу, и отец не говоря ни слова брал хлеб. В первый раз мы не захватили с собой ни портфеля, ни бумаги, и отец понес хлеб под мышкой, а я молча шагал рядом с ним, наблюдая за выражением его лица: оно было таким же, как всегда — радостным и гордым, и никто бы не сказал, как тяжело отцу все это. Я попытался взять у отца хлеб и понести его сам, но он ласково покачал головой. И потом, когда воскресными вечерами мы снова ходили на вокзал отправлять матери письма, я всегда следил за тем, чтобы у нас был с собой портфель. Наступили месяцы, когда я уже со вторника начинал мечтать об этом добавочном хлебном пайке, пока однажды в воскресенье сам Фундаль не открыл нам дверь, и по его лицу я сразу понял, что на этот раз мы не получим хлеба: большие темные глаза булочника жестко смотрели на нас, тяжелый подбородок напоминал каменные подбородки статуй; еле шевеля губами, он произнес:

— Я отпускаю хлеб только по карточкам, но и по карточкам я не отпускаю его в воскресенье вечером.

Он захлопнул дверь у нас перед носом, ту самую дверь, что ведет сейчас в его кафе, где собираются члены местного джаз-клуба. Я сам видел на этой двери кроваво-красный плакат: сияющие негры прижимают губы к золотым мундштукам труб.

А тогда понадобилось несколько секунд, прежде чем мы смогли взять себя в руки и пойти домой; я нес пустой портфель, и его кожа совсем опала, как у хозяйственной сумки. Лицо отца было таким же, как всегда: гордым и радостным. Он сказал:

— Вчера мне пришлось поставить его сыну единицу.

Я слышал, как хозяйка мелет на кухне кофе, слышал, как она тихо и ласково увещевает свою маленькую дочурку, и мне все еще хотелось лечь обратно в постель и закутаться с головой одеялом; я вспоминал, как хорошо было раньше: в общежитии для учеников мне прекрасно удавалось состроить такую несчастную мину, что наш начальник капеллан Дерихе приказывал подать мне в кровать чай и грелку, и, пока другие ученики спускались и завтраку, я засыпал и просыпался только около одиннадцати, когда приходила уборщица убирать спальню. Ее фамилия была Витцель, и я боялся сурового взгляда ее голубых глаз, боялся ее рук — честных и сильных; заправляя простыни и складывая одеяла, она обходила мою постель, словно постель прокаженного, и произносила угрозу, которая до сих пор звучит устрашающе у меня в ушах: «Из тебя толку не выйдет! Ничего из тебя не выйдет!»

Ее сочувствие после смерти матери, когда все стали обращаться со мной ласково, — ее сочувствие было для меня еще тягостней. Но стоило мне, после того как умерла мать, спять переменить профессию и место учения — мне пришлось тогда целыми днями торчать в общежитии, пока капеллан не подыскал для меня новую работу, и я либо чистил картошку, либо слонялся со щеткой в руках по коридорам, — ее сочувствия как не бывало, и лишь только фрау Витцель замечала меня, как снова произносила свою сакраментальную фразу: «Из тебя толку не выйдет. Ничего из тебя не выйдет!» Я боялся ее, как боятся птицу, которая с карканьем преследует тебя, и удирал на кухню под крылышко к фрау Фехтер, где чувствовал себя в безопасности; я помогал ей солить капусту и в награду за это получал добавочные порции пудинга; убаюкиваемый сладкими песнями, которые распевали служанки, я рубил капусту большой сечкой. Некоторые строчки песен, которые фрау Фехтер считала неприличными, например такие, как «И оя любил ее всю ночку темную», служанки должны были пропускать, мурлыкая себе что-то под нос. Однако гора капусты на кухне убывала быстрее, чем я предполагал, и целых два страшных дня мне пришлось еще провести со щеткой в руках под началом фрау Витцель. А потом капеллан нашел мне место у Виквебера, и, после того как я уже побывал учеником в банке, помощником продавца и подмастерьем у столяра, я начал учиться у Виквебера на электромонтера.

Недавно, то есть через семь лет после отъезда из общежития, я встретил фрау Витцель на трамвайной остановке; затормозив, я вышел из машины и предложил подвезти ее в город, она согласилась, но, когда я высаживал Витцель у ее дома, она сказала мне весьма дружески:

— Большое спасибо... Но если у человека есть своя машина, это вовсе не значит, что из него вышел толк!..

Я так и не укрылся с головой одеялом и не стал решать вопроса, права ли фрау Витцель, ибо мне было безразлично, вышел из меня толк или нет.

Когда хозяйка принесла мне завтрак, я все еще сидел на краешке кровати. Я дал ей письмо отца и, пока она читала его, налил себе кофе и сделал бутерброды.

— Конечно, — сказала она, — вы должны пойти, — и она положила письмо на поднос рядом с сахарницей. — Вы должны быть к ней внимательны и пригласить ее поесть. Имейте в виду, эти молоденькие девушки в большинстве случаев гораздо сильней хотят есть, чем они показывают...

Она вышла, так как в передней зазвонил телефон, и я услышал, как она говорила: «Хорошо, хорошо, я передам ему. Ладно». — И, вернувшись в комнату, она произнесла:

— Звонила какая-то женщина с Курбельштрассе, она плакала в телефон, у нее не ладится со стиральной машиной. Просит вас немедленно приехать.

— Не могу, — ответил я, — мне еще нужно разделаться со вчерашними вызовами.

Пожав плечами, хозяйка вышла; я позавтракал и умылся, думая о дочери Муллера, которую совсем не знал. Она должна была приехать в город еще в феврале, и я смеялся тогда над письмом ее отца — над его почерком, знакомым мне еще по отметкам на моих неудачных работах по английскому языку, и над его манерой выражаться.

«Моя дочь Хедвиг, — писал Муллер, — переедет в феврале в город, чтобы поступить в Педагогическую академию. Буду весьма признателен, если Вы поможете . подыскать ей комнату. Вероятно, Вы лишь смутно помните меня: я директор школы имени Гофмана фон Фаллерсле-бена, где Вы в течение нескольких лет проходили курс наук», — таким весьма благородным способом Муллер изобразил нижеследующий факт моей биографии: так и не окончив гимназию, я в возрасте шестнадцати лет выбыл из восьмого класса, предварительно просидев в нем два года.

«Но, быть может, — писал Муллер далее, — Вы еще помните обо мне, и, надеюсь, моя просьба, не слишком обременит Вас. Помещение для дочери должно быть не чересчур роскошным, но и не безобразным; хорошо, если комната будет поблизости от Педагогической академии и вместе с тем — если это можно устроить — не в той части города, которая напоминает окраину; кроме того, позволю себе подчеркнуть, что комната должна быть, во всяком случае, недорогой».

Образ Муллера, возникший у меня при чтении этого письма, был совсем не похож на того Муллера, которого я помнил. В воспоминаниях Муллер рисовался мне человеком уступчивым и забывчивым, даже несколько опустившимся, а этот Муллер был педант и скряга, что никак не вязалось с моим представлением о нем.

Уже одного слова «недорогой» было достаточно, чтобы я возненавидел его, — хотя раньше не питал к нему ненависти, — ибо я ненавижу слово «недорогой». Отец тоже может порассказать кое-что о тех временах, когда фунт масла стоил всего марку, меблированная комната с завтраком — десять марок, и когда с тридцатью пфеннигами в кармане можно было пойти с девушкой потанцевать. Рассказывая об этих временах, люди всегда произносят слово «недорогой» с оттенком обвинения, словно человек, с которым они разговаривают, виноват в том, что масло подорожало в. четыре раза. Уже шестнадцатилетним мальчишкой, очутившись в городе один-одинешенек, я узнал цену на все товары, ибо не мог заплатить ни за один из них; голод научил меня разбираться вценах, мысль о свежем хлебе сводила меня с ума, и по эечерам я часами бродил по улицам, думая только об одном — о хлебе. Мои глаза горели, а колени подгибались, и я чувствовал, как во мне появляется что-то волчье. Хлеб. Я стал хлебоманом, как люди становятся наркоманами. Я был страшен самому себе, и из памяти у меня не выходил человек, который как-то читал у нас в общежитии лекцию с диапозитивами об экспедиции на Северный полюс; он рассказывал нам, что люди на полюсе разрывали на части только что пойманную живую рыбу и проглатывали ее сырой. Даже сейчас, когда я, получив жалованье, иду по городу с бумажками и мелочью в кармане, на меня часто нападает волчий страх тех дней: завидев свежий хлеб в витрине, я покупаю в булочной несколько хлебцев, которые кажутся мне особенно аппетитными, в следующей — еще один, а затем целую гору маленьких поджаристых, хрустящих булочек, которые отношу потом хозяйке на кухню, потому что самому мне не справиться и с четвертой частью всего купленного хлеба, а мысль о том, что он может пропасть, приводит меня в ужас.

Тяжелее всего были первые месяцы после смерти матери; мне больше не хотелось учиться на электромонтера, но до этого я уже перепробовал достаточно профессий: был учеником в банке, продавцом, подмастерьем у столяра, — и каждый раз меня хватало ровно на два месяца; свою новую профессию я тоже ненавидел, а хозяина возненавидел так, что у меня часто кружилась голова, когда по вечерам я ехал обратно в общежитие в переполненном трамвае; но я все же доучился, потому что решил доказать им всем, что способен на это. Четыре раза в неделю мне разрешалось ходить по вечерам в госпиталь святого Винцента, где дальняя родственница матери работала на кухне: там я получал тарелку супа, а иногда и ломоть хлеба впридачу; на скамейке перед окошком в кухню всегда сидело четверо или пятеро голодных, большей частью старики. Когда окошко приоткрывалось и в нем появлялись полные руки сестры Клары, они протягивали свои дрожащие ладони, а я с трудом удерживался, чтобы не вырвать у Клары миску с Супом. Выдача супа всегда происходила поздно вечером, когда больные уже давным-давно спали: нельзя было возбуждать в них подозрение, что здесь занимаются неуместной благотворительностью заих счет; и в коридоре, где мы сидели, горели только две пятнадцатисвечовые лампочки, освещавшие нашу трапезу. Иногда наше чавканье приостанавливалось, окошко открывалось во второй раз и сестра Клара давала нам по полной тарелке пудинга. Этот пудинг был такой же красный, как дешевые леденцы, которые продаются на ярмарках; когда мы кидались к окошку, сестра Клара качала головой и вздыхала, большей частью она с трудом удерживалась от слез. Потом она говорила «обождите», шла еще раз обратно в кухню и возвращалась с полным кувшином подливки; подливка была желтая, словно сера, такая ослепительно желтая, как солнце на лубочных картинках. И мы съедали все: и суп и пудинг и подливку, — и ждали, не откроется ли окошко в третий раз: иногда нам перепадал еще кусок хлеба, и раз в месяц сестра Клара раздавала сигареты из своего пайка, каждый из нас получал по одной или по две штуки этих бесценных белых палочек, — но в большинстве случаев, открывая окошко, сестра Клара говорила, что у нее больше ничего нет. Каждый месяц группы людей, которых сестра Клара кормила таким образом, перетасовывались; и мы могли попасть в группу, имевшую право приходить четыре раза в неделю, причем этот четвертый день падал на воскресенье, а по воскресеньям иногда давали картошку с мясным соусом; т я с таким страстным нетерпением ждал конца месяца, чтобы попасть в другую группу, словно узник, ожидающий конца своего заключения.

С тех пор я ненавижу слово «недорогой», ибо всегда слышал его из уст моего хозяина; Виквебер принадлежит к числу людей, которых принято называть «порядочными»; человек энергичный, он знает свое дело и по-своему даже добродушен. Когда я поступил к нему учеником, мне еще не исполнилось шестнадцати. Он держал в то время двух подмастерьев и четырех учеников и, кроме того, еще мастера, правда, большей частью занятого на маленькой фабрике, которую Виквебер как раз тогда открыл. Виквебер — видный мужчина, здоровый и веселый, и даже в его набожности есть что-то вызывающее симпатию. Вначале я его просто невзлюбил, но спустя два месяца я ненавидел его уже только за то, что из его кухни доносились запахи кушаний, которых я никогда в жизни не пробовал: свежих пирогов, жареного мяса, горячего сала; голод, этот зверь, копошившийся в моих внутренностях, не выносил запахов съестного, он начинал бунтовать, и что-то кислое и горячее подымалось во мне; я ненавидел Викве-бера потому, что с утра приносил с собой на работу всего два ломтика хлеба, склеенных красным повидлом, и кастрюльку с холодным супом; предполагалось, что я подогрею его где-нибудь поблизости на стройке, но большей частью я проглатывал суп уже по дороге в мастерскую. Когда я приходил на работу, в моей сумке для инструментов гремела пустая посуда, и я надеялся лишь на то, что какая-нибудь клиентка даст мне кусок хлеба, тарелку супа или еще что-нибудь съедобное. Обычно мне действительно кое-что перепадало. Я был тогда застенчивым парнем, очень тихим, высоким, худым, и никто, казалось, знать не знал о том, что во мне притаился волк. Однажды в моем присутствии обо мне говорила женщина, не предполагавшая, что я ее слышу, она хвалила меня и под конец сказала: «У него такая благородная внешность!»

«Хорошо, — подумал я тогда, — значит, у меня благородная внешность», — и я начал более внимательно разглядывать себя в зеркале, которое висело в умывальной нашего общежития; я рассматривал свое бледное продолговатое лицо — то вытягивая губы вперед, то опять поджимая их, — и размышлял: значит, так выглядят люди с благородной внешностью. И, обращаясь к своему собственному лицу, смотревшему на меня из зеркала, я громко говорил: «Хорошо бы пожрать чего-нибудь!..»

В то время отец всегда писал, что он приедет ко мне,; чтобы посмотреть, как я живу; но он так и не приехал. Когда я бывал дома, он расспрашивал меня о жизни в городе, и я должен был рассказывать о «черном рынке», об общежитии, о моей работе; он беспомощно качал головой, и, если я говорил ему, что голодаю, — я редко заговаривал на эту тему, но иногда у меня невольно вырывалось, — отец бежал на кухню и приносил все, что у него было съедобного: яблоки, хлеб/ маргарин, а иногда он становился у плиты и нарезал на сковородку холодные картофелины, чтобы угостить меня жареной картошкой; однажды он вернулся из кухни растерянныйг с кочаном красной капусты в руках.

— Больше я ничего не нашел, — сказал он. — По-моему, из этого можно приготовить салат.

Но кусок застревал у меня в горле. Мне казалось, будто я совершаю несправедливость, будто я все неправильно описываю, казалось, что мои рассказы о жизни в городе не соответствуют действительности. Я называл ему также цены на хлеб, масло и уголь, и каждый раз он ужасался, но, по-моему, каждый раз все забывал, хотя иногда все-таки посылал мне деньги и писал, чтобы я купил себе хлеба. Когда от отца приходили деньги, я шел на «черный рынок», покупал двухили трехфунтовую буханку самого свежего хлеба, потом садился на какую-нибудь скамейку или же забирался в развалины, разламывал буханку пополам и ел, отрывая своими грязными руками куски хлеба и запихивая их в рот; иногда от мякиша шел пар, внутри хлеб был совсем теплый, и мгновениями мне казалось, будто я держу в руках что-то живое и разрываю его на части, и я вспоминал человека, который читал нам лекцию об экспедиции на Северный полюс и рассказывал, как люди разрывали на куски живую рыбу и проглатывали ее сырой. Бывало, что, оставляя немного хлеба, я завертывал его в газетную бумагу и клал в сумку с инструментами, но стоило мне отойти шагов на сто, как я останавливался, снова вынимал хлеб и, стоя на улице, съедал все до крошки. Если я покупал себе трехфунтовую буханку, то так наедался, что отдавал кому-нибудь свой ужин в общежитии, а сам сейчас же укладывался в кровать и лежал совсем один наверху, в спальне, завернувшись в одеяло и почти осоловев от сытости, потому что желудок мой был переполнен сладким свежим хлебом. Я ложился часов в восемь вечера, и мне предстояло спать целых одиннадцать часов, ибо сна мне тоже никогда не хватало. Возможно, отец был в то время безразличен ко всему, кроме болезни матери; во всяком случае, приезжая домой, я избегал слова «голод» и всяких упоминаний о своих горестях, так как видел воочию, что у отца было гораздо меньше еды, чем у меня; лицо у него пожелтело, он исхудал и смотрел на все отсутствующим взглядом. Потом мы отправлялись навестить мать; и когда я сидел возле ее кровати, она тоже обязательно предлагала мне что-нибудь поесть, все, что ей удавалось урвать от своего больничного пайка или от передач, которые ей приносили: фрукты, бутылку молока или кусок пирога. Но я не мог ничего есть, зная, что у матери туберкулез и ей нужно хорошо питаться. Мать настаивала, уверяя, что еда испортится, если я ее не съем. А отец говорил: «Клара, ты должна есть, ты должна поправиться». Мать плакала, повернувшись к стене, а я не мог проглотить ни куска из того, что она мне предлагала. Рядом с матерью лежала женщина, в глазах которой тоже было что-то волчье, я знал, что эта женщина готова съесть все, что не доест мать; я чувствовал прикосновение горячих ладоней матери к моей руке, видел в ее глазах страх перед алчностью соседки. Мать умоляла меня поесть, говоря:

— Дорогой мальчик, ешь, я ведь знаю, что ты голоден, я знаю, как живется в городе.

Но я только качал головой, гладил ее руки и молча молил, чтобы она перестала меня упрашивать; улыбнувшись, она не заговаривала больше о еде, и я знал, что она поняла меня. Я говорил ей:

— Может, дома тебе было бы лучше, может, тебе было бы лучше в другой палате.

Но мать отвечала:

— Других палат нет, а домой они меня не пускают, потому что моя болезнь заразная.

А потом, когда отец и я разговаривали с врачом, я ненавидел врача за его равнодушие; беседуя с нами, он думал о чем-то постороннем; отвечая на вопросы отца, о. ч глядел то на дверь, то в окно, и по его красным, мягко очерченным губам я видел, что мать умрет. И все же женщина, лежавшая рядом с матерью, умерла раньше. Однажды, когда мы пришли в воскресенье днем, оказалось, что она умерла, ее кровать была пуста, и муж, которого, видимо, только что известили, пришел в палату и собирал а тумбочке ее имущество: шпильки, пудреницу, белье и коробку спичек; он делал это молча и торопливо и даже не поздоровался с нами. Он был маленького роста, худой и походил на щуку — кожа у него была темная, а глаза маленькие и совсем круглые; и когда в палату вошла сестра, он начал орать на нее из-за банки мясных консервов, которой не обнаружил в тумбочке.

— Где консервы? —закричал он, когда пришла сестра. — Я принес вчера, вчера вечером, в десять часов, когда возвращался с работы, и если она умерла ночью, то уже не могла их съесть.

Он размахивал шпилькой покойницы у самого лица сестры, а в уголках его губ показалась желтоватая пена. Он беспрерывно вопил:

— Где мясо? Отдайте мне мясо! Если вы не вернете мои консервы, я разнесу в щепки всю вашу лавочку!

Сестра покраснела и тоже начала кричать, и, глядя на ее лицо, я подумал, что она действительно стащила мясо. А этот тип бушевал: он бросал на пол вещи и, топча их ногами, орал:

— Отдайте мне мясо, вы, чертовы шлюхи, воры, убийцы!

Это продолжалось всего каких-нибудь несколько секунд, потом отец выбежал в коридор, чтобы позвать на помощь, а я встал между сестрой и этим человеком, потому что он начал бить ее, но он был маленький, проворный и гораздо ловчей меня, и ему удалось несколько раз ударить сестру в грудь своими маленькими темными кулачками. Я заметил, что в гневе он все время ухмылялся, скаля зубы, словно крысы, которые попадались в крысоловки, расставленные сестрой-хозяйкой в нашем общежитии.

— Отдай мясо, шлюха! Мясо! — кричал он, пока отец не явился в сопровождении двух санитаров, которые схватили его и выволокли в коридор; но из-за закрытых дверей до нас продолжали доноситься его крики:

— Отдайте мясо, воры!

Когда снаружи все стихло, мы взглянули друг на друга, и мать спокойно сказала:

— Каждый раз, как только он приходил, они начинали ссориться из-за денег, которые она давала ему на питание; он кричал на нее, уверяя, что цены опять поднялись, а она ему никогда не верила; они говорили друг другу ужасные вещи, но она все-таки давала ему деньги.

Мать помолчала, взглянула на кровать покойницы и тихо прибавила:

— Они были женаты двадцать лет, и в войну погиб их единственный сын. Иногда она вытаскивала из-под подушки карточку сына и плакала. Карточка все еще лежит там и деньги тоже. Он их не нашел. А мясо, — сказала она еще тише, — мясо она успела съесть.

И я постарался представить себе, как все это было, как эта мрачная и алчная женщина лежала ночью рядом с матерью и уже в предсмертной агонии ела мясо из консервной банки.

В те годы, после смерти матери, отец часто писал мне, его письма приходили все чаще и становились все длинней и длинней. В большинстве случаев он писал, что приедет посмотреть, как я живу; но он так и не приехал, и семь лет я прожил в городе один. Тогда он предложил мне переменить место учения, подыскать себе что-нибудь в Кнох-та, но я хотел остаться в городе, потому что уже начал становиться на ноги и разбираться в махинациях Викве-бера, и мне было важно закончить учение именно у него. Кроме того, я познакомился с девушкой, по имени Вероника, белокурой и сияющей; она работала у Виквебера в конторе; мы с ней часто встречались; летними вечерами мы ходили гулять по берегу Рейна или есть мороженое, и я целовал ее, когда, спустившись к самой реке, мы сидели в темноте на синих базальтовых плитах набережной, свесив ноги в воду. В светлые ночи, когда вся река была видна как на ладони, мы подплывали к разбитому судну, которое торчало посреди реки, усаживались на железную скамейку, где когда-то сидел по вечерам шкипер со своей женой; каюта, помещавшаяся позади скамейки, была давно разобрана, и можно было прислониться только к железной штанге. Внизу, внутри судна, журчала вода. После того как в конторе Виквебера начала работать его дочь, он уволил Веронику, и мы стали встречаться с ней реже. Через год она вышла замуж за вдовца, у которого своя молочная неподалеку от моего нынешнего жилья. Когда моя машина в ремонте и я езжу на трамвае, то вижу Веронику в лавке; она все еще белокурая и сияющая, но семь лет, которые прошли с тех пор, уже наложили на нее свой отпечаток. Она растолстела, а во дворе за лавкой висит на веревке детское белье: розовое принадлежит, по-видимому, маленькой девочке, а голубое — мальчику. Однажды дверь была открыта, и я видел, как Вероника, стоя в лавке, наливала молоко своими большими красивыми руками. Иногда она приносила мне хлеб от своего двоюродного брата, работавшего на хлебозаводе; Веронике хотелось непременно кормить меня самой, и каждый раз, когда она давала мне кусок хлеба, эти руки были у самых моих глаз. Но однажды я показал ей кольцо, доставшееся мне от матери, и заметил в ее взгляде тот же алчный блеск, какой был во взгляде женщины, лежавшей в больнице рядом с матерью.

За эти семь лет я слишком хорошо узнал цены, и поэтому не выношу слово «недорогой»; «недорогих» вещей нет, а цены на хлеб всегда слишком высоки.

Теперь я стал на ноги — так, кажется, говорят, — я настолько хорошо изучил свое ремесло, что давно уже перестал быть для Виквебера дешевой рабочей силой, как первые три года. У меня есть маленький автомобиль, за который я даже расплатился, и вот уже несколько лет я коплю деньги, с тем чтобы стать независимым от Виквебера и иметь возможность в любой момент внести залог и перейти к кому-нибудь из его конкурентов. Большинство людей, с которыми мне приходится иметь дело, приветливы со мной, и я плачу им тем же. Можно сказать, что мои дела обстоят вполне сносно. Я теперь сам в цене, в цене 1йои руки и мои технические знания, накопленный мною опыт и мое любезное обращение с клиентами (ибо меня хвалят за приятное обхождение и за безупречные манеры, что особенно важно, так как я агент по продаже тех самых машин, которые могу теперь ремонтировать с закрытыми глазами). Свою цену мне все еще удается повышать, мои дела идут как по маслу, а за это время цены на хлеб, как говорят, теперь успели прийти в норму. Итак, я работал двенадцать часов в сутки, спал восемь, и у меня еще оставалось четыре часа на то, что называется досугом: я встречался с Уллой, дочерью моего шефа, с которой хотя и не был помолвлен, или, вернее, не был помолвлен, так сказать, формально, но которая считалась тем не менее моей невестой; об этом, правда, не говорилось вслух, но все были уверены, что я на ней женюсь.

И все же ни к кому я не испытываю такой нежности, как к сестре Кларе из госпиталя святого Винцента, которая давала мне суп, хлеб, ярко-красный пудинг, желтую, как сера, подливку и подарила мне в общей сложности, наверное, штук двадцать сигарет; ее пудинг показался бы мне теперь невкусным, ее сигареты я не стал бы сейчас курить, но к сестре Кларе, уже давно покоящейся на монастырском кладбище, и к памяти об ее одутловатом лице и водянистых глазах, с грустью глядевших на нас, когда ей приходилось окончательно захлопывать окошко, я отношусь с большей нежностью, чем ко всем людям, с которыми мне довелось познакомиться, гуляя с Уллой: по глазам этих людей и по их рукам я читаю цены, которые мне пришлось бы им платить, и я стряхиваю с себя их очарование, мысленно разоблачаю их, стараюсь забыть аромат исходящий от этих людей, — снимаю с них все их показное достоинство, которое так дешево стоит. Встречаясь с ними, я бужу в себе волка, все еще дремлющего во мне. бужу голод, который научил меня разбираться в ценах: я слышу его рычание, когда, танцуя, кладу голову на плечо красивой девушки и вижу, как хорошенькие маленькие ручки, покоящиеся на моей руке и на моем плече, превращаются в когти, готовые вырвать у меня хлеб. Лишь очень немногие люди давали мне, ничего не требуя взамен: только отец, мать да еще иногда работниоы с фабрики...

II

Я вытер лезвие бритвы бумажной салфеткой; пачка салфеток всегда висит рядом с моим умывальником. — мне дарит их агент мыльной фирмы; на каждом листке изображен кроваво-красный женский рот, и под этим кроваво-красным ртом написано: «Не стирайте помаду полотенцем!» Есть салфетки другого рода: на каждой из них нарисована мужская рука с лезвием, разрезающим полотенце, и на листках напечатано: . "Вытирая бритву, пользуйтесь этой салфеткой!» — но я предпочитаю употреблять листки с кроваво-красным ртом, а салфетки с другим рисунком дарю детям хозяйки.

Я взял с письменного стола деньги — возвращаясь домой, я вытаскиваю их из карманов и бросаю как попало на стол, — и моток провода, который Вольф принес еще вчера, и, уже выходя из комнаты, услышал телефонный звонок. Хозяйка опять сказала: «Хорошо, я ему передам!»— и, посмотрев на меня, молча протянула мне трубку; я покачал головой, но она с таким серьезным лицом кивнула мне, что я все же подошел и взял трубку. Плачущий женский голос произнес какую-то фразу, но я разобрал только несколько слов:

— Курбельштрассе, приходите... пожалуйста, приходите...

— Хорошо, приду, — сказал я, и плачущая женщина опять что-то произнесла, но я уловил только отдельные слова:

— Мы поспорили... мой муж... приходите, пожалуйста, сейчас же...

Я еще раз сказал:

— Ладно, приду, — и повесил трубку.

— Не забудьте купить цветы, — напомнила хозяйка, — и подумайте о еде. Она приедет как раз к обеду.

О цветах я забыл; мне пришлось ехать с самой окраины обратно в город, хотя поблизости надо было произвести еще один ремонт и, таким образом, можно было дважды поставить в счет расстояние до места и время, потраченное на езду. Я ехал быстро, потому что было уже половина двенадцатого, а поезд приходил в 11. 47. Этот поезд я знал; по понедельникам я часто возвращался с ним в город, навестив отца. По дороге на вокзал я попытался представить себе девушку.

Семь лет назад, в тот последний проведенный дома год, я несколько раз видел ее; этот год я был у Муллеров ровно двенадцать раз: каждый месяц я относил Муллеру тетради по иностранным языкам, которые, в очередь с другими учителями, просматривал отец. На последней странице, в самом низу, стояли аккуратные росчерки трех учителей иностранных языков: «Му» — что значило Муллер, «Цбк» — Цубанек и «Фен» — так подписывался мой отец, фамилию которого — Фендрих — я ношу.

Наиболее ясно вспоминались мне темные пятна на доме Муллера: на зеленой краске вплоть до окон первого этажа виднелись черные, похожие на облака, подтеки сырости, которая подымалась от земли; фантастические узоры казались мне похожими на карты из какого-то таинственного атласа; к лету пятна подсыхали по краям и их окружали белые, как плесень, разводы, но даже в летний зной в этих облаках можно было различить темно-серое ядро. Зимой и осенью сырость — черная и кислая — переползала через белые, словно плесень, края и расплывалась, как чернильная клякса на промокашке. Я хорошо помнил также самого Муллера, неряшливого, в домашних шлепанцах, помнил его длинную трубку, кожаные корешки его книг и фотографию в передней, где Муллер был снят молодым человеком в пестрой студенческой шапочке, а под этой фотографией было витиеватым почерком написано, кажется, «Тевтония» или же название какой-то другой корпорации на «...ония». Иногда я видел сына Муллера; он был на два года моложе меня и когда-то учился со мной в одном классе, но уже давно меня обогнал. Ширококостный, коротко подстриженный, он походил на молодого буйвола; со мной он старался пробыть не более минуты; этому доброму малому были, очевидно, неприятны наши встречи, потому что в разговоре со мной ему с трудом удавалось избежать всего того, что, по его мнению, могло меня задеть: сострадания, высокомерия или неприятной, неестественной фамильярности. Поэтому он ограничивался тем, что, встретив меня, хриповатым, но бодрым голосом говорил «добрый день» и показывал мне дорогу в комнату отца. Всего лишь дважды я видел маленькую девочку лет двенадцати-тринадцати; в первый раз она играла в саду с пустыми цветочными горшками; она построила башню из сухих светло-красных горшков у зеленой, как мох, стены и испуганно вздрогнула, когда женский голос крикнул: «Хедвиг!»; казалось, ее страх передался башне из цветочных горшков — горшок, стоявший на самом верху, скатился вниз и разбился на мокром темном цементе двора,

В другой раз я встретил девочку в коридоре, который вел в комнату Муллера: она устроила в бельевой . корзине постель для куклы; светлые волосы рассыпались по ее худой детской шейке, которая в сумраке коридора показалась мне зеленоватой. И я слышал, как, склонившись над невидимой куклой, она мурлыкала себе под нос какую-то не известную мне песенку, в которой через определенные промежутки времени повторялось одно-единственное слово: «Зувейя... зу... зу... зузувейя», — и когда я проходил мимо нее в комнату Муллера, она взглянула на меня, и я различил ее лицо: оно было бледное и худое, и на него свисали прямые пряди светлых волос Должно быть, это и была она, Хедвиг, для которой я снял комнату.

Комнату, какую я должен был разыскать для дочери Муллера, ищут в нашем городе не менее двадцати тысяч человек; однако таких комнат бывает раз-два и обчелся, и сдает их тот безвестный ангел, что изредка блуждает среди людей; у меня как раз такая комната, я нашел ее в то время, когда просил отца забрать меня из общежития. Моя комната большая, мебели в ней немного, и все вещи хотя и старинные, но удобные; четыре года, что я уже прожил в этом доме, кажутся мне вечностью: при мне родились дети хозяйки, и я стал крестным самого младшего из них — потому что именно я привел ночью акушерку. В течение многих недель, когда мне приходилось рано вставать, я грел для Роберта молоко и кормил его из бутылочки, потому что хозяйка, измотанная ночной работой, просыпалась поздно, а будить ее у меня не хватало духу. Ее муж принадлежит к числу людей, которые в глазах света слывут артистическими натурами, его, как и многих других, считают жертвой обстоятельств; часами он жалуется на свою загубленную молодость, которую у него будто бы украла война.

— Нас обманули, — говорит он, — нас обманули, лишив самых лучших лет в жизни человека — от двадцати до двадцати восьми!

И эта загубленная молодость служит ему оправданием для глупостей, совершаемых им, а жена не только прощает ему все, но и потворствует; он рисует, набрасывает эскизы домов, сочиняет музыку...

Ничего он не делает по-настоящему —так мне, по крайней мере кажется, — хотя время от времени его работы приносят деньги. По всей квартире развешаны его наброски: «Писательский домик в горах Таунуса», «Дом скульптора», — и на всех набросках тьма деревьев, какие изображают архитекторы; а я ненавижу деревья, изображаемые архитекторами, потому что вот уже пятый год вижу их ежедневно. Я глотаю его советы, как люди глотают лекарства, прописанные знакомым врачом.

— В этом городе, — говорит он, например, — я в вашем возрасте жил один, как и вы, и мне пришлось преодолевать опасности, каких я не пожелал бы вам. — Я знаю, что, говоря об опасностях, он намекает на кварталы, населенные проститутками.

Муж моей хозяйки весьма любезен, но, по-моему, глуп; он обладает только одной способностью — сохранять любовь своей жены, которой он делает прелестных детей. Моя хозяйка — высокая блондинка, и долгое время я был так страстно влюблен в нее, что тайком целовал ее фартук и перчатки, и от ревности к этому дурню, ее мужу, не мог спать по ночам. Но она его любит, и, по-видимому, мужчине вовсе не обязательно быть энергичным и преуспевающим, чтобы его любила такая женщина, как она, женщина, которой я не перестаю восхищаться. Часто он перехватывает у меня несколько марок, чтобы пойти в одно из тех кафе, куда ходит богема, и, нацепив дикий галстук и взлохматив волосы, он разыгрывает из себя невесть что, выпивая при этом целую бутылку водки; я даю ему деньги, потому что не хочу огорчать его жену, унижая его. И он знает, почему я даю ему деньги, ибо он наделен той хитростью, без которой бездельники умерли бы с голоду. Он принадлежит к категории бездельников, умеющих делать вид, будто они великие импровизаторы, но я не верю в то, что он действительно умеет импровизировать.

Мне всегда казалось, что вторую такую комнату, как моя, не сыщешь, тем более я поразился, когда подыскал для долери Муллера почти такую же хорошую комнату а самом центре, в одном доме с прачечной, где мне приходится наблюдать за работой стиральных машин — я проверяю прочность резиновых частей, меняю передачи, пока они еще не износились, закрепляю винты, чтобы они не разболтались. Я люблю центр города — эти кварталы, сменившие за последние пятьдесят лет своих хозяев и жильцов; они напоминают мне фрак, который впервые одели на свадьбу, а потом отдали обедневшему дядюшке, подрабатывающему в качестве музыканта; его наследники заложили фрак в ломбард, да так и не выкупили, и он достался старьевщику; старьевщик приобрел его на аукционе и по сходной цене отдает на прокат разорившимся аристократам, нежданно-негаданно приглашенным на прием к какому-нибудь министру, чье государство они тщетно пытаются разыскать в географических атласах своих младших сыновей.

В доме, где теперь находится прачечная, я снял для дочери Муллера комнату, удовлетворяющую почти всем его требованиям: она просторная, обставлена отнюдь не безобразно, и большое окно выходит в старый барский сад; после пяти здесь — в центре — тихо и спокойно.

Я снял комнату с первого февраля. Но потом начались недоразумения: в конце января Муллер написал, что его дочь заболела и приедет только к пятнадцатому марта и нельзя ли так устроить, чтобы комната оставалась за нею, но не оплачивалась. Я написал ему гневное письмо, где разъяснил, каковы жилищные условия в нашем городе, на устыдился, получив от него смиренный ответ, в котором он выражал согласие внести квартирную плату за эти шесть недель.

О девушке я вообще почти не вспоминал, я только удостоверился, что Муллер действительно внес плату. Он прислал деньги, и, когда я справился об этом у хозяйки, она не преминула спросить меня о том же, о чем спрашивала раньше, когда я смотрел комнату.

— Это не ваша подружка, это в самом деле не ваша

подружка? 30

— Боже мой, — ответил я сердито, — говорю вам, что я вообще не знаком с этой девушкой.

— Я не допущу, — произнесла она, — чтобы...

— Я знаю, — ответил я, — чего вы не допустите, но говорю вам: с этой девушкой я не знаком.

— Хорошо, — сказала хозяйка, и я возненавидел ее уже за одну ее усмешку. — Ведь я спрашиваю потому, что для жениха с невестой я иногда делаю исключение.

— Боже мой, — проговорил я, — этого еще недоставало. Успокойтесь, пожалуйста... — Но, кажется, она так и не успокоилась.

На вокзал я пришел с опозданием на несколько минут и, бросая монетку в автомат, чтобы получить перронный билет, попытался представить себе девушку, которая пела «Зувейя», когда я проходил по темному коридору в комнату Муллера с тетрадями по иностранным языкам. Остановившись у лестницы, ведущей на перрон,,я размышлял: блондинка, двадцати лет, приезжает в город, чтобы стать учительницей; и когда я разглядывал людей, проходивших мимо меня, мне казалось, что весь мир населен белокурыми двадцатилетними девушками, — так много их сошло с поезда; и все они несли в руках чемоданы и выглядели так, будто приехали в город, чтобы стать учительницами. Я слишком устал, чтобы заговорить с кем-нибудь из них; закурив сигарету, я перешел на другую сторону лестницы и увидел за барьером девушку, сидевшую на своем чемодане, девушку, которая все это время, видимо, находилась позади меня: у нее были темные волосы, а одета она была в пальто, зеленое, как трава, выросшая за одну теплую дождливую ночь; оно было такое зеленое, что от него, казалось, должно пахнуть травой; волосы девушки были темные, как шиферная крыша после дождя, а лицо — ослепительно белое, почти такое же белое, как свежая штукатурка, сквозь которую еще просвечивает охра. Я подумал, что она накрашена, но ошибся. Глядя в упор на это кричаще зеленое пальто, глядя на ее, лицо, я вдруг почувствовал страх, — страх, какой испытывают путешественники, когда вступают на открытую ими землю, зная, что другая экспедиция уже в пути и, быть может, успела водрузить свой флаг и завладеть этой землей; путешественники, которые боятсял как бы «е оказались напрасными все тяготы их долгого пути, все трудности, борьба не на жизнь, а на смерть.

Лицо этой девушки проникло в самую глубь моего существа, прошло сквозь меня, как штамп для чеканки серебра прошел бы сквозь воск, и мне показалось, словно я пронзен насквозь, но не истекаю кровью; в какой-то безумный миг мне вдруг захотелось уничтожить это лицо, как художник уничтожает оригинал, с которого успел снять один-единственный оттиск.

Я бросил сигарету и пробежал шесть шагов, составлявших ширину лестничной площадки. Но страх мой пропал, лишь только я очутился рядом с девушкой. Я произнес:

— Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? Она улыбнулась, кивнула головой и ответила:

— О да, вы можете сказать мне, где находится Юден-гассе.

— Юденгассе? — удивился я, у меня было такое чувство, будто я услышал свое имя во сне, но еще не осознал, что это действительно мое имя; я был не в себе, и мне казалось, я понял, что значит быть не в себе.

— Юденгассе, — повторил я, — да, Юденгассе. Пойдемте.

Я видел, как она встала и с некоторым удивлением взяла тяжелый чемодан; я был слишком потрясен и не подумал, что чемодан полагается нести мне; в ту минуту я был очень далек от привычной вежливости. Мысль о том, что она и есть Хедвиг Муллер, — в то мгновение еще не полностью осознанная мною, хотя эта мысль должна была со всей очевидностью возникнуть у меня, когда девушка произнесла слово «Юденгассе», — чуть не свела меня с ума. Здесь была какая-то путаница, неразбериха; я был настолько уверен, что дочь Муллера — блондинка, одна из тех многочисленных блондинок, будущих учительниц, которые проходили мимо меня, что не мог сразу отождествить эту девушку с ней; до сих пор я часто сомневаюсь, что она и есть Хедвиг Муллер, и произношу это имя неуверенно, ибо мне кажется, что ее настоящее имя мне еще предстоит узнать.

— Да, да, — сказал я в ответ на ее вопросительный взгляд, — пойдемте!

Пропустив девушку с тяжелым чемоданом вперед, я последовал за ней к выходу.

В те полминуты, пока я шел за ней, я думал о том. что буду ею обладать и ради этого готов разрушить все, что могло бы мне помешать. Я уже видел, как разрушаю стиральные машины, разбивая их десятифунтовым молотом. Я смотрел на спину Хедвиг, на ее шею и руки, побелевшие от того, что она несла тяжелый чемодан. Я ревновал ее к железнодорожному чиновнику, который на секунду дотронулся до ее руки, когда она протянула ему билет; я ревновал ее к полу вокзала, потому что по нему ступали ее ноги. Мы были почти у самого выхода, когда я сообразил, что мне надо взять чемодан.

— Простите, — произнес я, подскочил к ней и взял у нее из рук чемодан.

— Очень мило, — сказала она, — что вы пришли меня встретить.

— Боже мой, — пробормотал я, — разве вы меня знаете?'

— Конечно, — ответила она, смеясь, — ведь ваша карточка стоит на письменном столе у вашего отца.

— Вы знакомы с моим отцом?

— Да, — сказала она, — я училась у него.

Я засунул чемодан в багажник, поставил рядом ее сумку и помог ей сесть в машину, и тогда я в первый раз дотронулся до ее руки и локтя. У нее был круглый, крепкий локоть, а рука большая, но легкая; в ту минуту эта рука была сухой и прохладной. Обойдя машину, чтобы сесть за руль, я остановился у радиатора, открыл капот и сделал вид, будто разглядываю что-то в моторе; но я смотрел на девушку через переднее стекло, и мне стало страшно уже не потому, что ее может открыть и завоевать кто-то другой, — этого я больше не боялся, — ибо все равно я ее никогда не оставлю, ни сегодня, ни во все те дни, что наступят потом, во все дни, совокупность которых называется жизнью. Нет, я боялся другого — боялся того, что произойдет потом; поезд, куда я хотел сесть, готовился к отправлению, он стоял под парами, пассажиры уже вошли —, семафор был открыт, и человек в красной фуражке поднял жезл; все ждали только меня, потому что я уже стоял на подножке и вот-вот должен был войти в вагон, но в эту секунду я соскочил вниз. Я думал о тех многочисленных откровенных объяснениях, которые мне придется пережить; теперь я понял, что всегда ненавидел откровенные объяснения — эту бесконечную, бессмысленную болтовню, бесплодные рассуждения о том, кто виноват и кто прав, упреки, ссоры, телефонные звонки, письма, я ненавидел вину, которую должен буду взять на себя, — вину, уже лежащую на мне. Я видел, как моя прежняя вполне сносная жизнь катилась дальше, словно сложная машина, построенная для человека, которого уже нет, — меня уже не было; и машина разрушалась: винты развинчивались, поршни накалялись, железные части летели во все стороны, пахло гарью.

Я давно уже закрыл капот и, упершись локтями в радиатор, смотрел сквозь переднее стекло на ее лицо, разделенное дворником на две неравные части; мне казалось непостижимым, что до сих пор ни один мужчина не понял, как она красива, что никто ее не разглядел, а может быть, она стала такой лишь в тот миг, как я увидел ее?

Когда я вошел в машину и сел рядом с ней, она взглянула на меня, и в ее глазах я заметил страх перед тем, что я мог бы сказать или сделать, но я ничего не сказал, молча включил мотор и поехал в город; только изредка, поворачивая направо, я смотрел на нее сбоку, изучая ее профиль, и она тоже разглядывала меня. Я поехал на Юден-гассе и уже затормозил было, чтобы остановиться перед ее домом, но я еще не знал, как вести себя потом, когда мы остановимся, выйдем из машины и войдем в квартиру, и поэтому я проехал всю Юденгассе и, поколесив по городу, опять вернулся к вокзалу, снова проделал тот же путь до Юденгассе и на этот раз остановился.

Не говоря ни слова, я помог ей выйти из машины, снова взял ее большую руку в свою и почувствовал, как ее круглый локоть коснулся моей левой ладони. Взяв немо-дан, я пошел к парадному, позвонил и, когда она нагнала меня с сумочкой в руках, не обернулся. Я побежал с чемоданом вперед, поставил его наверху перед дверью квартиры и встретил Хедвиг, когда она медленно поднималась по лестнице, держа свою сумочку. Я не знал, как ее назвать; мне казалось, что имена Хедвиг и фрейлейн Мул-лер не подходят к ней, и поэтому я просто сказал:

— Через полчаса я зайду за вами и мы пойдем обедать, ладно?

Она слегка кивнула мне в ответ, задумчиво глядя куда-то мимо меня, и казалось, будто она что-то глотает. Больше я не произнес ни слова, сбежал вниз, сел в машину и поехал сам не зная куда. Не помню, по каким улицам я проезжал и о чем думал, помню только, что моя машина казалась мне бесконечно пустой, машина, в которой я почти всегда ездил один и лишь изредка с Уллой; и я пытался представить себе, как было час назад, когда я ехал без Хедвиг к вокзалу.

Но я уже не мог вспомнить, что было раньше; и хотя я представлял себе, как еду в своей машине на вокзал, мне казалось, что то был мой брат-близнец, похожий на меня, как две капли воды, но в остальном не имеющий ничего общего со мной.

Я пришел в себя, только подрулив к цветочному магазину; остановив машину, я вошел в магазин. Там было прохладно, сладко пахло цветами и никого, кроме меня, не было. Я подумал о том, что на свете должны существовать зеленые розы, розы с зелеными цветами, и потом в зеркале я увидел, как вынимаю бумажник и ищу деньги, но не сразу узнал себя и покраснел, потому что, произнеся вслух «зеленые розы», почувствовал, будто кто-то подслушал меня. И только в этот миг я узнал себя по краске, покрывшей мое лицо, и подумал: значит, это действительно я, у меня и впрямь весьма благородная внешность. Откуда-то сзади вышла старуха, и я уже издали увидел, как она улыбалась, сияя своими вставными зубами; она еще дожевывала последний кусок и, проглотив его, заулыбалась снова, и все же мне показалось, что вместе с едой она проглотила улыбку. По ее лицу я видел, что она причислила меня к тем, кто покупает красные розы, улыбаясь, она подошла к большому букету красных роз, стоявшему в серебряном кувшине; она ласкала цветы, чуть прикасаясь к ним пальцами, но мне это показалось непристойным; я вспомнил публичные дома, от которых предостерегал меня герр Бротиг, муж моей хозяйки, и вдруг понял, почему мне было так неприятно: здесь было, как в публичном доме, я знал это, хотя никогда не бывал там.

—— Они восхитительны, не правда ли? —сказала женщина. Но я не хотел красных роз, я никогда не любил их.

— Белых, — сказал я хрипло; и, улыбаясь, она направилась к бронзовому кувшину, где стояли белые розы.

— Ах, так, — сказала она, — для свадьбы!

— Да, — ответил я, — для свадьбы.

В кармане пиджака у меня лежали две бумажки и ме-' лочь; я выложил все деньги на прилавок и сказал, как говорил, будучи ребенком, когда клал на прилавок всю свою наличность, требуя «конфет на все деньги»:

— Дайте мне белых роз на все деньги... и побольше зелени.

Кончиками пальцев женщина взяла деньги, пересчитала их и начала вычислять на оберточной бумаге, сколько роз мне следовало получить. Считая, она не улыбалась, но стоило ей направиться к бронзовому кувшину с белыми розами, как улыбка на ее лице появилась опять, будто внезапная икота. Резкий приторный запах, наполнявший лавку, неожиданно настиг меня, словно смертельный яд, и, сделав два больших шага к» прилавку, я схватил свои деньги и кинулся прочь.

Вскочив в машину, я в то же время увидел себя из какой-то бесконечной дали, словно человека, ограбившего кассу магазина; я помчался вперед, и, когда заметил перед собой вокзал, у меня было такое чувство, будто я уже тысячу лет подряд тысячу раз на день вижу этот вокзал, хотя на вокзальных часах было всего лишь десять минут первого, а без четверти двенадцать я еще только бросал монетку в автомат для перронных билетов; мне казалось, что я еще слышу, как гудит автомат, пожирая монетку, как он легко и насмешливо щелкает, выплевывая картонный билетик; но за эти двадцать пять минут я уже успел позабыть, кто я, как выгляжу и чем занимаюсь.

Объехав вокруг вокзала, я остановился у цветочного киоска напротив ремесленного банка, вышел из машины и попросил желтых тюльпанов на три марки; мне дали десять штук, и я протянул женщине еще три марки и попросил дать мне еще десять тюльпанов. Я принес тюльпаны в машину, бросил их на заднее сиденье, где лежал чемоданчик с инструментами, прошел мимо киоска в ремесленный банк, и когда я вытаскивал из внутреннего кармана пиджака свою чековую книжку и медленно подходил к окошку кассы, то показался себе немного смешным: я боялся, что мне не выдадут деньги. На зеленой обложке чековой книжки я написал сумму вклада—1710 марок 80 пфеннигов — и медленно заполнил чек; в узкой графе вверху справа написал 1700 и то же число — «одна тысяча семьсот» — проставил после слов «сумма прописью». И когда я подписывал внизу свое имя, Вальтер Фендрих, то мне казалось, что я совершаю подлог. Передавая чек девушке у кассы, я еще испытывал страх, но она взяла чек и, не глядя на меня, бросила его на ленту конвейера, а мне протянула желтый картонный номерок. Стоя у кассы, я видел, как по другой ленте конвейера чеки возвращались к кассиру; мой чек тоже быстро вернулся, и я был удивлен, услышав, что кассир выкрикнул мой номер; подвинув к нему по белой мраморной доске картонный номерок, я получил деньги — десять бумажек по сто марок и четырнадцать по пятьдесят.

Выходя из банка с деньгами в кармане, я чувствовал себя как-то странно: это были мои деньги, я скопил их, скопил без особого труда, потому что хорошо зарабатывал, но вид белых мраморных колонн и позолоченной входной двери, через которую я вышел на улицу, выражение строгой важности на лице швейцара — все это вызвало во мне такое ощущение, будто я украл свои деньги.

Однако, сев в машину, я засмеялся и быстро поехал обратно на Юденгассе.

Я позвонил у фрау Гролта и, когда наверху открыли, толкнул дверь спиной и, усталый, отчаявшийся, поднялся по лестнице: я боялся того, что мне еще предстояло. Цветы я опустил головками книзу и нес их, как бумажный кулек с картошкой. Я шел вперед, не глядя ни налево, ни направо. Не знаю, какую мину состроила хозяйка, когда я проходил мимо нее, потому что я не взглянул в ее сторону.

Хедвиг сидела у окна с книгой руках, но я сразу понял, что она не читала; тихо проскользнув через переднюю к двери ее комнаты, я открыл дверь так бесшумно, как делают воры, хотя никогда не занимался подобным ремеслом и не обучался этому искусству. Она захлопнула книгу, и мне никогда не забыть это едва заметное движение, как и ее улыбку; я и сейчас еще слышу, как захлопнулась книга, при этом вылетел железнодорожный билет, который Хедвиг сунула вместо закладки, но ни она, ни я — ни один из нас не нагнулся, чтобы поднять его.

Я все еще стоял у двери, смотрел на старые деревья сада, на платья Хедвиг, которые она вынула и бросила как попало на стулья и на стол; я без труда прочел название книги, напечатанное четкими красными буквами по серому фону: «Учебник педагогики». Хедвиг стояла между кроватью и окном, руки ее были опущены, а кисти слегка сжаты, как у человека, который собирается барабанить, но еще не взял палочки. Я смотрел на нее, но думал совсем не о ней, я думал о том, что рассказывал мне подмастерье Виквебера, с которым я был неразлучен в первый год ученья. Его звали Греммиг, он был высокий и худой, и его рука — от кисти до локтя — была сплошь покрыта рубцами от осколков ручной гранаты. Во время войны он иногда закрывал полотенцем лица женщин в минуту близости с ними; и я поразился тогда, что его рассказ почти не ужаснул меня. Только сейчас, шесть лет спустя, стоя напротив Хедвиг с цветами в руках, только сейчас я ужаснулся, и то, что говорил Греммиг, показалось мне страшней всего когда-либо слышанного мною. Подмастерья рассказывали мне много гадких историй, но никто из них не закрывал лицо женщины полотенцем; и те, кто не делал этого, представлялись мне теперь невинными младенцами. Лицо Хедвиг — ни о чем другом я не мог думать!

— Уходите, — сказала она. — Уходите сейчас же.

— Да, — ответил я, — я уйду.

Но я не уходил; то, что я хотел сделать с ней, я еще никогда не делал ни с одной женщиной; для этого существует множество названий, множество слов, я узнал почти все эти слова, когда был учеником и жил в общежитии, слышал их потом в техникуме от своих товарищей; но ни одно из этих выражений не подходило к тому, что я хотел с ней сделать, и я до сих пор ищу нужное слово. Слово «любовь» не в состоянии выразить всего; быть может, оно просто лучше других выражает суть дела.

На лице Хедвиг я читал то же, что можно было прочесть на моем, — испуг и страх, ничего похожего на то, что зовут страстью, но одновременно все, что искали и не нашли мужчины, рассказывавшие мне о себе; и внезапно я понял, что даже Греммиг не был исключением: за полотенцем, которое он набрасывал на лицо женщины, он искал красоту; и теперь мне казалось, что стоит Греммигу снять полотенце — он нашел бы ее. Медленно исчезала тень, упавшая с моего лица на лицо Хедвиг, — и вот показалось ее лицо, то самое лицо, что так глубоко врезалось в мое сознание.

— Теперь уходите, — сказала она.

— А цветы вам нравятся? — спросил я. — Да. Я положил цветы на ее постель, прямо в бумаге, и наблюдал за тем, как она разворачивала их, поправляла бутоны, трогала зелень. Можно было подумать, что ей каждый день дарили цветы.

— Подайте мне, пожалуйста, вазу, — произнесла она, и я подал ей вазу, стоявшую на комоде у двери, возле которой я остановился; Хедвиг сделала несколько шагов мне навстречу, и, когда она брала вазу, я на секунду почувствовал прикосновение ее руки; и в эту секунду я подумал обо всем, что мог бы сейчас предпринять: я мог бы привлечь ее к себе, поцеловать и не отпускать, но я не сделал ничего такого, я встал опять спиной к двери и наблюдал за тем, как она наливала в вазу воду из графина и ставила туда цветы; ваза была из темно-красной керамики, и, когда она поставила ее на окно, цветы выглядели в ней красиво.

— Уходите, — повторила она, и, не говоря ни слова, я повернулся, открыл дверь и вышел в переднюю. В передней оказалось темно, потому что там не было окна, только сквозь матовое стекло входной двери проникал сумрачный свет. Мне хотелось, чтобы она пошла за мной и крикнула мне что-нибудь вслед, но она не вышла, и, открыв входную дверь, я спустился по лестнице.

В парадном я остановился, закурил сигарету, посмотрел на улицу, залитую солнцем, и начал читать таблички с фамилиями жильцов: Хюнерт, Шмиц, Стефанидес, Кролль, после этого шла фамилия ее хозяйки — Гролта — и небольшая печатная вывеска «ФЛИНК — белье», — это была прачечная.

Не успев докурить сигарету, я перешел улицу, остановился на тротуаре и стал смотреть на противоположную сторону, не выпуская из виду парадную дверь. Я испугался, когда ко мне неожиданно обратилась хозяйка прачечной фрау Флинк; должно быть, она перешла улицу, не снимая своего белого халата, но я ее не заметил.

— Ах, герр Фендрих, — сказал она, — вы пришли как раз вовремя: одна из стиральных машин начала перегреваться: работница недосмотрела.

— Выключите машину, — сказал я, не глядя на фрау Флинк. Я продолжал упорно смотреть на входную дверь.

— Разве вы не можете взглянуть?

— Нет, — ответил я, — я не могу взглянуть.

— Но вы ведь уже здесь.

— Да, здесь, — сказал я, — но я не могу взглянуть на машину: я должен быть здесь.

— Ну, это уж переходит все границы, — заявила фрау Флинк. — Вы здесь и не можете даже взглянуть на машину.

Краем глаза я видел, что фрау Флинк вернулась к себе, и через минуту в дверях прачечной появились работавшие у нее девушки — четыре или пять белых халатов. Я слышал, что они смеялись, но меня их смех не трогал.

Я думал о том, что так, наверное, бывает, когда тонешь: серая вода вливается в тебя — целая масса воды; ты больше ничего не видишь и ничего не слышишь, кроме глухого шума, а серая безвкусная вода кажется тебе сладкой.

Мой мозг продолжал работать, словно машина, которую забыли выключить; вдруг я понял, как решается алгебраическая задача, которую я не мог решить два года назад на экзамене в техникуме, и то, что я нашел решение этой задачи, вселило в меня чувство бесконечного счастья, ощущаемое человеком, когда он внезапно вспомнит имя или слово, долгое время от него ускользавшее.

В этот момент мне пришли в голову английские слова, которые я не мог выучить в школе девять лет назад, и я вдруг сообразил, что спичка по-английски называется «match». «Тэд принес своему отцу спичку, и отец Тэда зажег этой спичкой трубку. Огонь в камине горел, и отец Тэда подложил новые поленья, прежде чем он начал рассказывать о тех временах, когда он был в Индии». Полено по-английски «log», и теперь я смог бы перевести эту фразу, которую тогда никто не сумел перевести, даже первый ученик. Мне казалось, будто я сплю и кто-то нашептывает мне слова, никогда не читанные и не слышанные мною раньше. Но мои глаза видели только одно — парадную дверь, откуда рано или поздно выйдет Хедвиг; это была новая дверь, покрашенная коричневой краской, и мне казалось, что я никогда не видел ничего другого, кроме этой двери.

Не знаю, страдал ли я: темно-серые воды сомкнулись надо мной, и в то же время мое сознание работало так отчетливо, как никогда: я думал о том, что мне еще предстоит когда-нибудь извиниться перед фрау Флинк; она всегда была добра ко мне, нашла комнату для Хедвиг и, если я приходил усталый, иногда угощала меня кофе. Когда-нибудь, думал я, придется перед ней извиниться. Мне еще многое предстояло сделать; и обо всем я помнил, даже о женщине на Курбельштрассе, которая плакала в телефон и все еще ждала меня.

Теперь я знал то, что знал всегда, но в чем не признавался себе в эти последние шесть лет: знал, что ненавижу свою профессию так же, как ненавидел все остальные профессии, которые испробовал. Я ненавидел стиральные машины; запах щелока вызывал во мне отвращение, более сильное, нежели простое физическое отвращение. Я любил в своей профессии только одно — деньги, которые она приносила, но деньги лежали у меня в кармане; я потрогал их — они были на месте.

Я закурил еще сигарету, но и это сделал машинально: вынул из кармана пачку, похлопал по ней, доставая сигарету, и потом на мгновение увидел, что дверь стала краской; когда я смотрел на нее сквозь пламя зажигалки, увидел, как ее окутал голубоватый дымок моей сигареты; но сигарета показалась мне невкусной, и я бросил ее в сток для воды, выкурив только наполовину. А потом, когда я хотел зажечь новую, то определил на ощупь, что пачка пуста, и отправил ее вслед за сигаретой в сток для воды.

Все, казалось, было где-то вне меня — и чувство голода, и легкая тошнота, которая бродила во мне, как жидкость, циркулирующая в колбах для перегонки. Я не умел петь, но, стоя здесь, против двери, откуда рано или поздно должна была выйти Хедвиг, я мог бы спеть — я знал это.

Я всегда предполагал, что Виквебер — жулик, хотя он и не нарушал законов, однако только сейчас, стоя на шероховатой брусчатке тротуара против этой двери, я открыл уравнение, по которому совершалось жульничество; два года я работал на его фабрике, а потом проверял и сменял приборы, выпускавшиеся там, их продажную цену определял опять-таки я вместе с Виквебером и Уллой. Сырье было дешевое, хорошего качества, такое же, как для подводных лодок и самолетов. Виквебер получал его вагонами; и мы установили, что продажная цена электрического кипятильника равна девяноста маркам; столько же стоили три буханки хлеба, при условии если рынок, как они говорили, был более или менее «в норме», и две буханки, если он находился, по их выражению, «ниже нормального уровня». Я сам испытывал кипятильники в кабинке над бухгалтерией и ставил на них букву «ф» и дату, после чего мальчик-ученик уносил их на склад, где кипятильники заворачивали в промасленную бумагу; и вот год назад я купил отцу электрический кипятильник, который Виквебер отпустил мне по фабричной цене; кладовщик отвел меня на склад, где я выбрал себе кипятильник. Я положил его в машину, отвез к отцу и, устанавливая, обнаружил свою метку — букву «ф» и дату 19. 2. 47. Я смутился и начал размышлять обо всем этом, словно об уравнении с одним неизвестным, но теперь, стоя на тротуаре против двери Хедвиг, я больше не испытывал смущения — я нашел неизвестное: то, что раньше стоило три буханки, продавалось сейчас по цене двухсот буханок, даже я, купив кипятильник со скидкой, заплатил за него столько, сколько стоили сто тридцать буханок хлеба; я поразился, как это много, как велико оказалось неизвестное, и подумал о всех тех утюгах, больших и маленьких, кипятильниках, электрических плитках и электроплитах, которые два года подряд помечал буквой «ф».

Мне вспомнилось чувство возмущения, охватившее меня, когда однажды зимой я был с родителями в Альпах. Отец сфотографировал мать на фоне горных вершин, покрытых снегом; у матери были темные волосы, и она одела светлое пальто. Когда отец снимал, я стоял рядом с ним; все вокруг было белым-бело, только волосы матери были темные; но когда отец показал мне дома негатив, казалось, что на нем изображена беловолосая негритянка, стоящая перед высоченными грудами угля. Я возмутился, и объяснение химического процесса — кстати, не очень сложное — меня не удовлетворило. Я думал — и думаю по сю пору, — что несколькими химическими формулами, растворами и солями ничего нельзя объяснить, зато выражение «камера-обскура» произвело на меня ошеломляющее впечатление; потом, чтобы успокоить меня, отец сфотографировал мать в нашем городе в черном пальто на фоне груд угля; но на негативе я увидел беловолосую негритянку в белом пальто на фоне бесконечно высоких снежных вершин; темным выглядело только то, что в действительности было светлым — белое лицо матери, а ее черное пальто и груды угля — все казалось таким светлым, таким нарядным, словно мать, улыбаясь, стояла на снегу.

После этого второго снимка мое возмущение не уменьшилось; с тех пор фотография никогда меня не интересовала; мне всегда казалось, что снимки не следует печатать с негативов, потому что готовые фотографии меньше всего походили на них: я хотел смотреть только на негативы; и еще меня очаровывала темная каморка, где отец при красном свете купал негативы в каких-то таинственных ванночках до тех пор, пока снег становился снегом, а уголь — углем, но это был плохой снег и плохой уголь... зато мне казалось, что на негативе снег был хорошим углем, а уголь — хорошим снегом. Отец попробовал успокоить меня, сказав, что единственно верный снимок всего существующего находится в неведомой камере-обскуре — в божественном разуме; но и это объяснение я счел тогда слишком простым, потому что слово «бог» было тем громким словом, за которым взрослые пытались все скрыть.

Но здесь, стоя на этом тротуаре, я, по-моему, понял отца: я знал, что уже изображен на каком-то снимке именно здесь, глубоко под толщей серой воды; этот снимок существовал, и я жаждал его увидеть. Если бы кто-нибудь заговорил со мной по-английски, я смог бы ответить ему на том же языке; и здесь, на тротуаре, перед домом Хедвиг, мне стало ясным то, что я всегда боялся уяснить себе, о чем всегда стеснялся рассказывать: мне стало ясно, как бесконечно важно для меня прийти на вечернюю мессу до начала освящения даров и сидеть в церкви до тех пор, пока она не опустеет, сидеть так долго, пока церковный служка не начнет демонстративно звенеть связкой ключей, подобно официанту, который демонстративно ставит стулья на стол, когда хочет уйти домой; и грусть, с какой люди покидают ресторан, напоминает грусть, владеющую мной, когда меня выгоняют из церкви, хотя я грихожу туда в самую последнюю минуту. Мне казалось, я понял то, чего никак не мог понять раньше: понял, что Виквебер мог быть в одно и то же время и набожным человеком и подлецом и что все это было настоящим — и его набожность и его подлость; и я расстался со своей ненавистью к нему, как ребенок расстается с воздушным ща-риком, который он все воскресенье судорожно удерживал в руке и вдруг отпустил, чтобы посмотреть, как он будет подниматься в летнее небо, становясь все меньше и меньше, пока не исчезнет совсем. Я даже услышал легкий вздох, с которым улетела моя ненависть к Виквеберу.

— Улетай, — подумал я и на секунду, выпустив из виду дверь, попытался проследить взглядом за моим вздохом, и в эту секунду там, где жила моя ненависть, образовалось пустое пространство—невесомое ничто; казалось, оно держало меня на поверхности, как пузырь держит рыбу; но это длилось всего мгновение, а потом я почувствовал, что пустота во мне заполняется чем-то тяжелым, как свинец, —смертельным равнодушием. Иногда я посматривал на свои часы, но ни разу не взглянул на часовую и минутную стрелки; я смотрел только на крохотный кружок, как бы невзначай нарисованный над цифрой шесть; только этот кружок показывал мне время, только этот проворный, тоненький палец беспокоил меня, а отнюдь не большие и маленькие стрелки наверху; этот проворный, тоненький палец двигался очень быстро, подобно маленькому точному механизму, отрезающему тонкие пластинки от чего-то невидимого — от времени; он буравил и сверлил пустоту, извлекая из нее мелкую пыль, волшебный порошок, который обсыпал меня, превращая в неподвижный столб.

Я видел, что девушки из прачечной пошли обедать, видел, как они вернулись. Я видел фрау Флинк, стоящую з дверях прачечной; видел, что она качала головой. За моей спиной проходили люди, люди проходили мимо парадной двери, из которой должна была выйти Хедвиг, и на мгновение заслоняли эту дверь; я думал обо всем, что мне еще предстояло сделать: на белом листке бумаги, который лежал у меня в машине, было записано пять вызовов, а в шесть часов я условился встретиться с Уллой в кафе йос, но все это время я не думал об Улле.

Был понедельник, четырнадцатое марта, и Хедвиг не выходила. Я поднес часы к левому уху и услышал, с какой насмешливой старательностью маленькая стрелка сверлила дыры в пустоте, темные круглые дыры, которые вдруг заплясали у меня перед глазами, закружились вокруг парадной двери, снова оторвались от нее, погружаясь в бледную синеву неба, словно монеты, брошенные в воду; потом на несколько мгновений все пространство передо мной опять стало дырявым, подобно одному из тех листов жести, из которых я вырезал на фабрике Виквебера маленькие четырехугольники; и через каждую из этих дырок я видел входную дверь, видел сто раз одну и ту же дверь — множество крошечных, но отчетливо обрисованных дверей; они цеплялись друг за друга зубчиками, словно одинаковые марки на большом листе: сто раз повторялось на этих марках лицо изобретателя свечи для двигателя внутреннего сгорания.

Я беспомощно шарил по карманам, разыскивая сигареты, хотя знал, что у меня их больше нет; правда, пачка сигарет лежала в машине, но машина стояла метров на двадцать правее парадной двери, и мне казалось, что целый океан простирается между мной и моей машиной. Я снова вспомнил женщину с Курбельштрассе, которая плакала в телефон, как плачут все женщины, когда не могут справиться с какой-нибудь машиной, и вдруг я понял, что не думать об Улле — бесполезно; и я начал думать о ней; я решился на это, как человек внезапно решается включить свет в комнате, где кто-то умер; в темноте покойника еще можно было принять за спящего, можно было уговорить себя, что он еще дышит, еще шевелится; но вот резкий свет осветил всю картину — и сразу стало видно, что здесь уже готовятся к погребению; в комнате стоят подсвечники и кадки с искусственными пальмами; и слева у ног мертвеца видно возвышение — черная материя странно приподнялась, потому что служащий похоронного бюро подсунул под нее молоток, которым он завтра заколотит крышку гроба; и уже сейчас слышно то, что будет слышно только завтра, — непоправимый монотонный стук, лишенный какой бы то ни было мелодии.

Улла ничего не знала, и поэтому думать о ней было еще тяжелей; ничего уже нельзя было изменить, ничего нельзя было вернуть, казалось, это так же невозможно, как вытащить гвозди из крышки гроба, — но она еще ничего не знала.

Я представил себе, как бы мы жили с ней; всегда она смотрела бы на меня, как смотрят на ручную гранату, переделанную в пепельницу и поставленную на рояль; по воскресеньям, после кофе, в нее стряхивают пепел, а по понедельникам чистят, и каждый раз у того, кто ее чистит, возникает все то же щекочущее чувство, потому что столь опасный некогда предмет выполняет теперь такие безобидные функции; а вдобавок ко всему шутник, сделавший пепельницу, весьма хитроумно использовал запасной шнур: когда нажимаешь кнопку, прикрепленную к шнуру, — она выглядит так же, как белые фарфоровые кнопки у ночников, — невидимая батарейка накаляет докрасна несколько проволочек, с тем чтобы можно было зажечь сигарету, — вот в каких мирных целях используется этот предмет, прежде столь немирный; девятьсот девяносто девять раз можно безнаказанно нажимать кнопку, но никто не знает, что в тысячный раз в движение приходит скрытый механизм и остроумная игрушка взрывается. Ничего страшного произойти не может; несколько осколков разлетятся во все стороны; но они не ранят человека в самое сердце, он испугается и будет впредь осторожней.

С Уллой тоже не произойдет ничего страшного: в самое сердце это ее не поразит, но все остальное, кроме сердца, будет ранено. Она начнет говорить, без конца говорить, и я заранее знал, что она скажет, она будет по-своему права, она захочет быть правой—это доставит ей даже некоторое торжество, а я всегда ненавидел людей, которые оказываются правыми и, доказав свою правоту, торжествуют. Эти люди всегда казались мне похожими на тех подписчиков, которые не заметили нападок на высшие власти, напечатанных в их газете петитом, и, когда в одно прекрасное утро газета перестает выходить, они возмущаются самым неприличным образом, хотя им вместо того, чтобы проглядывать заголовки, следовало бы более внимательно читать напечатанное мелким шрифтом, так же как держателям страховых полисов.

Только после того, как из поля моего зрения исчезла дверь, я снова вспомнил, что жду Хедвиг. Двери я больше не видел — ее закрыла большая темно-красная машина, хорошо знакомая мне: на ней было написано кремовыми буквами «Санитарная служба Виквебера», — и я перешел через улицу, потому что мне необходимо было опять увидеть дверь. Я шел медленно, словно под водой, и вздыхал, как, вероятно, вздыхал бы человек, прошедший под водой через леса водорослей и скопление ракушек, мимо удивленных рыб, с трудом взобравшийся на крутой берег, как на отвесную гору, и испуганный тем, что вместо тяжести водяной толщи вдруг ощутил невесомость воздуха, который мы почти не чувствуем.

Я обошел вокруг грузовой машины, и когда снова увидел дверь, то понял, что Хедвиг не сойдет вниз; она лежала там наверху на своей постели, сплошь покрытая невидимой пылью, которую высверливала из пустоты секундная стрелка.

Я был рад, что она отослала меня, когда я пришел с цветами; она сразу поняла, что я хотел с ней сделать, — и этому я был тоже рад, но боялся того мгновения, когда она больше не отошлет меня, мгновения, которое рано или поздно наступит в этот самый день, в этот самый понедельник.

Я потерял всякий интерес к парадной двери, и мне стало казаться, что я веду себя глупо, почти так же глупо, как в те дни, когда я целовал фартук хозяйки. Я подошел к своей машине, открыл ее, вынул пачку сигарет, лежавшую в правом боковом ящичке, под книжкой бланков для учета километров и рабочих часов, закурил сигарету, закрыл машину — и так и не решил, что мне делать дальше: подняться наверх, в комнату Хедвиг, или поехать на Кур-бельштрассе к женщине, которая так плакала в телефон.

Вдруг на мое плечо опустилась рука Вольфа: я ощутил ее тяжесть, как ощущал тяжесть водяной толщи; скосив глаза налево, я даже увидел ее — то была рука, несчетное число раз предлагавшая мне сигареты и несчетное число раз бравшая их у меня, честная и энергичная рука; при свете мартовского солнца я разглядел обручальное кольцо, блестевшее на пальце. По тому, как тихонько вздрагивала рука, я понял, что Вольф смеется — своим тихим, глубоким, булькающим смешком, каким он смеялся в техникуме над остротами нашего учителя, — и, прежде чем обернуться к нему, я на мгновение почувствовал то же, что чувствовал когда-то, когда отец уговорил меня пойти на встречу со старыми школьными товарищами: вот они сидят передо мной — товарищи, с которыми я провел три, четыре, а то и все девять лет, мы вместе спасались в бомбоубежище, когда вокруг падали бомбы; контрольные работы были для нас сражениями, где мы бились бок о бок; мы вместе тушили горящее здание школы, бинтовали и уносили раненого учителя латинского языка; вместе оставались на второй год; и казалось, что все эти события свяжут нас друг с другом навек, но мы совсем не были связаны друг с другом, а не то чтобы навек; и единственное воспоминание о тех временах — неприятный вкус во рту после первой тайком выкуренной сигареты; а тогда на вечере мне хотелось взять за руку кельнершу, разносившую пиво, кельнершу, которую я хотя и видел первый раз, вдруг принял за старую знакомую, почти такую же близкую, как мать; особенно в сравнении с неприязнью к тем людям, чья мудрость исчерпывается утратой идеалов, которых они никогда не имели; и идеалы начинаешь любить только потому, что их утратили все эти злосчастные глупцы, слегка привирающие, если спросишь их, сколько они зарабатывают в месяц, — и внезапно тебе становится ясным, что твоим единственным другом был Юрген Броласки, погибший еще в шестом классе; ты не сказал с ним и двух слов, потому что он казался тебе тогда несимпатичным брюзгой; однажды в летний вечер он утонул: его затянуло под плот около лесопилки, где ивы проросли сквозь синий базальт набережной; там можно было в одних купальных трусиках скатиться на роликах по цементной дорожке до самой воды, по дорожке, по которой подымали бревна; между камнями набережной росла сорная трава, и сторож, собиравший дрова для своей печурки, беспомощно говорил: «Хватит, ну, теперь хватит». У худенького, угловатого Броласки не было роликов, его купальные трусы были ярко-розового цвета — мать перешила их из нижней юбки, — и иногда мне казалось, что он плавает так долго, чтобы мы не заметили его трусов; всего на несколько секунд он вскарабкивался на один из плотов, обхватив руками колени, садился лицом к Рейну и смотрел на темно-зеленую тень моста, которая по вечерам доходила до самой лесопилки; никто не видел, как он спрыгнул в реку, никто не хватился его, до тех пор пока вечером мать Юргена не начала с плачем бегать по улицам от дома к дому.

— Ты не видел моего мальчика? Ты не видел Юргена?

— Нет!

Отец Юргена Броласки стоял у могилы в ефрейторском мундире без орденов, прислушиваясь к нашему пению: «Рано, брат, позвала тебя смерть в могилу. Рано, брат...»

На встрече со школьными товарищами я думал только о Броласки и о белой красивой руке кельнерши, на которую я так охотно положил бы свою руку; о ярко-розовых купальных трусах Броласки, перешитых из нижней юбки матери, — с широкой резинкой, как на женских чулках; Броласки исчез под темно-зеленой тенью моста.

Рано, брат, позвала тебя смерть в могилу...

Я медленно обернулся к Вольфу, взглянул на его доброе и энергичное лицо, которое знал вот уже семь лет, и мне стало чуть-чуть стыдно, как было стыдно, когда отец застал меня за кражей аттестационного бланка.

— Ты должен мне помочь, — произнес Вольф, — я не нахожу поломки. Пошли.

Он так осторожно потянул меня за рукав, словно я был слепой, и медленно повел в прачечную. До меня донесся запах, который я ощущал ежедневно по многу раз, — запах грязного белья; я увидел целые кипы белья на полу, увидел девушек в белых халатах и фрау Флинк, различил их лица, как различаешь после бомбежки окутанные тучами пыли лица людей, которых уже считали погибшими.

— Они перегреваются, — произнес кто-то, — мы их три раза проверяли, ничего не получается, и так все машины — все без исключения.

— А ты отвернул фильтры? — спросил я Вольфа.

— Да, они засорились, я их вычистил и опять поставил на место, и все машины снова перегрелись.

— Я теряю лучших клиентов, — сказала фрау Флинк. — Хунненхоф — мой лучший клиент, и я его потеряю, если постельное белье не будет готово к вечеру.

— Отвинти шланги от водопровода, — сказал я Вольфу; я наблюдал за тем, как он отвинчивал шланги у всех четырех машин, и в то же время слушал болтовню девушек о постельном белье, о котором они сплетничали с горничными из гостиницы; часто они с торжествующим видом показывали мне простыни министров и актеров, измазанные губной помадой; давали мне нюхать простыни, пахнувшие духами, которыми душилась любовница одного партийного бонзы, — и все эти вещи казались мне когда-то забавными; но вдруг я понял, как безразличны мне министры и партийные бонзы; даже их личная жизнь меня не интересовала; по мне, все их секреты могут сгинуть вместе с мыльной водой, вытекающей из стиральных машин. Мне опять захотелось уйти, я ненавидел стиральные машины, ненавидел запах щелока...

Хихикая, девушки передавали друг другу простыню одного киноактера, чьи похождения «были широко известны.

Вольф отвинтил все шланги и взглянул на меня; вид у него был немножко глуповатый.

— Чинили где-нибудь водопровод? — спросил я у фрау Флинк, не глядя на нее.

— Да, — ответила она, — вчера они разобрали мостовую на Корбмахергассе, вода идет к нам оттуда.

— Да, — сказал Вольф, открывая краны. — Вода — ржавая и грязная.

— Пусть течет, пока не станет совсем чистой, потом ты снова привинтишь шланги, и все будет в порядке. Вы не потеряете своих лучших клиентов, — проговорил я, обращаясь к фрау Флинк. — Белье будет готово к вечеру. — И я вышел оттуда, вышел опять на улицу, и все было, словно во сне, когда один ландшафт сменяется другим.

Я присел на подножку виквеберовской машины, но теперь уже не смотрел так пристально на дверь; закрыв глаза, я взглянул на секунду в камеру-обскуру моего сознания и увидел там единственного человека, о котором знаю, что он никогда не ругался и никогда не кричал на других, единственного человека, в чью набожность я верю, — я увидел отца. Перед ним стоял ящик с картотекой — синяя деревянная коробка, в которой мы держали раньше костяшки от домино. Эта коробка всегда до-верху набита листками одинаковой величины; отец вырезает их из остатков бумаги; бумага — единственная вещь, которую он никому не дает. Отец отрезает неиспользованную бумагу от начатых и незаконченных писем, от не исписанных до конца школьных тетрадей, от извещений о помолвках и похоронах; он отрезает чистую бумагу от приглашений принять участие в какой-нибудь манифестации и от тонких листовок, призывающих наконец-то внести свою лепту в дело свободы, — вся эта печатная продукция вселяет в отца детскую радость, потому что из каждого ее образчика он ухитряется вырезать по меньшей мере шесть листочков, которые потом хранит в старой коробке из-под домино, как другие хранят драгоценности. Отец — бумажная душа; повсюду лежат его листки — в книжках и в бумажнике, набитом ими доверху; на эти листки он заносит все важное и неважное. Живя дома, я часто находил их; на одном листке значилось: «Пуговицы на кальсонах», на другом — «Моцарт», на третьем — «pilageuse — рilagе», а однажды я нашел листок, где было написано: «Я видал в трамвае человека с таким лицом, какое, наверное, было у Христа в предсмертной агонии». Прежде чем идти за покупками, отец вынимает все листки и раскладывает их, как карточную колоду, а потом распределяет по степени «важности» в разные кучки, словно пасьянс, где тузы, короли, дамы и валеты должны лежать отдельно.

Из всех его книг высовываются листки, заложенные между страницами; большинство из них обтрепалось и покрылось желтыми пятнами, потому что иногда проходит несколько месяцев, прежде чем отец добирается до своих записок. Во время школьных каникул он складывает их вместе, снова перечитывает те страницы в книгах, о которых он сделал себе пометки, приводит в порядок свои листки, где в большинстве случаев записаны английские и французские слова, синтаксические конструкции и обороты речи; для того чтобы уяснить себе их значение, отец должен раза два или три встретить их в тексте. Он ведет обширную переписку по поводу своих открытий, выписывает словари, наводит справки у коллег и вежливо, но упорно донимает редакторов справочных изданий.

Одна записка постоянно лежит у него в бумажнике, ввиду ее особой важности, она помечена красным карандашом; после каждого моего приезда домой записка уничтожается, а потом вскоре появляется вновь. На этой записке значится: «Поговорить с мальчиком!»

Помню, как я поразился, обнаружив у себя отцовское упорство в те годы, когда учился в техникуме: и меня привлекало не то, что я знал и понял, а то, чего не знал и не понимал; и я не находил себе места до тех пор, пока не мог с закрытыми глазами разобрать и снова собрать новую машину; но к моей любознательности всегда примешивалось стремление заработать деньги благодаря своим знаниям — мотив, совершенно непонятный отцу. Он не считается с тем, во сколько ему зачастую обходится одно-единственное слово, из-за которого присылаются и отсылаются книги и предпринимаются поездки; он любит эти вновь открытые слова и обороты речи, как зоолог любит впервые обнаруженный им вид животного, и ему» никогда не пришло бы в голову брать деньги за свои открытия.

Рука Вольфа опять опустилась на мое плечо, и я заметил, что встал с подножки, перешел через улицу к своей машине и смотрю через ветровое стекло внутрь, на то место, где сидела Хедвиг, — сейчас оно было таким пустым...

— Что случилось? — спросил Вольф. — Что ты сделал с нашей милейшей фрау Флинк? Она совсем вне себя.

Я молчал. Не снимая руки с моего плеча, Вольф потащил меня мимо машины, на Корбмахергассе.

— Она позвонила мне, — сказал Вольф, — и в ее тоне было нечто такое, что заставило меня немедленно приехать, нечто такое, что не связано с ее стиральными машинами.

Я молчал.

— Пошли! — сказал Вольф. — Тебе не вредно выпить чашку кофе.

— Да, — ответил я тихо, — мне не вредно выпить чашку кофе. — Я снял с плеча его руку и пошел впереди него по Корбмахергассе, где, как я знал, было маленькое кафе.

Как раз в этот момент молодая женщина вытряхивала на витрину кафе булочки из белого полотняного мешка; булочки громоздились перед стеклом, и мне были видны их гладкие коричневые животики, их хрусткие спинки, а сверху, в тех местах, где булочки надрезал пекарь, они были белые, совсем белые. Молодая женщина ушла обратно в кафе, но булочки все еще сползали вниз, и на секунду мне показалось, что они похожи на рыб, плоских рыб, втиснутых в аквариум.

— Сюда? — спросил Вольф.

— Да, сюда, — ответил я.

Качая головой, Вольф пошел вперед, и, когда я провел его мимо стойки в небольшую комнатку, где никого не было, он улыбнулся.

— Совсем неплохо, — сказал он, садясь.

— Да, — повторил я, — совсем неплохо.

— О, — сказал Вольф, — стоит только на тебя посмотреть, как сразу догадаешься, что с тобой произошло.

— А что произошло со мной? — спросил я.

— О, — проговорил он, ухмыляясь, — ничего. Просто у тебя такой вид, как у человека, который уже покончил жизнь самоубийством. Я вижу, что сегодня на тебя нечего рассчитывать.

Молодая женщина принесла кофе, который Вольф заказал в первой комнате.

— Отец в ярости, — сказал Вольф, — телефон трезвонил все время, тебя нельзя было нигде разыскать, невозможно было поймать даже по тому телефону, который ты оставил фрау Бротиг. Не надо его так раздражать, — прибавил Вольф, — он очень злится. Ты же знаешь, что в делах он шутить не любит.

— Да, — повторил я, — в делах он шуток не признает. Я отхлебнул кофе, встал, пошел в первую комнату и

попросил у молодой женщины три булочки; она дала мне тарелку и предложила ножик, но я отрицательно покачал головой. Я положил булочки на тарелку, пошел обратно в комнату, сел и, засунув большие пальцы обеих рук в надрез, разломил булочку на две половинки, мякишем наружу; проглотив первый кусок, я почувствовал, что меня перестало мутить.

— Господи, — воскликнул Вольф, — тебе незачем есть сухой хлеб!

— Да, — сказал я, — мне незачем есть сухой хлеб.

— С тобой невозможно разговаривать, — сказал ов.

— Да, — повторил я, — со мной невозможно разговаривать. Уходи.

— Ладно, — проговорил он, — может быть, завтра ты опять придешь в себя.

Он засмеялся, встал и, вызвав женщину из большой комнаты, расплатился за две чашки кофе и за три булочки; он хотел дать ей мелочь на чай, но молодая женщина улыбнулась и вложила монетки обратно в его большую сильную руку; покачав головой, он сунул их в кошелек. Разламывая вторую булочку, я чувствовал, что взгляд Вольфа скользнул по моему затылку, волосам и лицу и остановился на моих руках.

— Между прочим, — сказал он, — дело выгорело. Я вопросительно взглянул на него.

— Разве Улла не рассказала тебе вчера о заказе для «Тритонии»?

— Конечно, — проговорил я тихо, — она вчера рассказала мне об этом.

— Мы получили заказ, — заявил Вольф, сияя. — Сегодня утром нам сообщили о решении. Надеюсь, что; к тому дню, когда мы начнем, к пятнице, ты уже будешь вполне вменяем. Что сказать отцу? Что мне вообще сказать отцу? Он в ярости; со времени той глупой истории с ним еще такого не случалось.

Отложив булочку в сторону, я встал.

— Со времени какой истории? — спросил я.

По лицу Вольфа я видел, что он уже жалеет о начатом разговоре, но разговор был начат — и я расстегнул задний карман брюк, где были спрятаны мои деньги, потрогал сложенные бумажки и вдруг вспомнил, что все бумажки по сто или по пятьдесят марок; тогда я сунул деньги обратно, застегнул пуговицу и полез в карман пиджака, где лежали деньги, которые я забрал с прилавка в цветочном магазине. Я вытащил бумажку в двадцать марок, двух, марковую бумажку и пятьдесят пфеннигов мелочью, взял правую руку Вольфа, разжал ее и вложил в нее деньги.

— Это за тогдашнюю историю, — произнес я, — электрические плитки, украденные мной, стоили по две марки двадцать пять пфеннигов за штуку. Отдай твоему отцу эти деньги, плиток было ровно десять штук.

— Эта история, — прибавил я тихо, — случилась шесть лет назад, но вы ее не забыли. Я рад, что ты мне о ней напомнил.

— Я сожалею, — сказал Вольф, — что упомянул о ней.

— И все же ты упомянул о ней сегодня на этом самом месте, и вот тебе деньги, отдай их твоему отцу.

— Возьми деньги, — попросил он, — так не поступают.

— А почему бы и нет? — проговорил я спокойно. — Тогда я воровал, а сейчас хочу оплатить украденное мной. Ну как, теперь мы в расчете?

Он молчал, и мне стало его жаль, потому что он не знал, как ему поступить с деньгами; он держал их в руке, и я видел, что на его сжатой в кулак руке и на его лице выступили капельки пота. Лицо у него стало таким, каким оно бывало, когда мастера орали на него или рассказывали неприличные анекдоты.

— Когда эта история случилась, нам обоим было по шестнадцать, — сказал я, — мы начали вместе учиться, а теперь тебе уже двадцать три, но ты не забыл о ней; отдай деньги обратно, если это тебя мучает. Я могу послать их твоему отцу по почте.

Я опять раскрыл его руку, горячую и влажную от пота, а всю мелочь и бумажки положил снова в карман пиджака.

— А теперь иди, — сказал я тихо, . но он продолжал стоять и смотреть на меня точно так же, как смотрел в тот день, когда кража выплыла наружу: он не поверил, что я виноват, и защищал меня своим звонким, энергичным юношеским голосом; хотя мы были ровесники, он казался мне тогда намного моложе меня, моим младшим братом, готовым вытерпеть порку, предназначавшуюся мне; старик рычал на него, а под конец влепил ему пощечину, и я отдал бы тысячу буханок хлеба, лишь бы мне не пришлось сознаться в воровстве. Но мне пришлось сознаться; это произошло во дворе перед мастерской, уже погруженной во мрак, при свете жалкой пятнадцатисвечовой лампочки в проржавевшем патроне, которая раскачивалась от ноябрьского ветра. И все слова, какие Вольф произнес своим звонким протестующим детским голосом, рассыпались в прах перед крохотным словечком «да», которым я ответил на вопрос старика; и оба они пошли через двор к себе домой. Вольф всегда видел во мне то, что в его детской душе определялось понятием «хороший парень», и ему было тяжело лишать меня этого титула. Возвращаясь на трамвае в общежитие, я чувствовал себя глупым и несчастным; я ни на секунду не ощущал угрызений совести из-за сворованных плиток, которые обменивал на хлеб и сигареты; я уже начал задумываться о ценах. Для меня мало значило то, что Вольф считает меня «хорошим парнем», но я не хотел, чтобы он несправедливо перестал считать меня таковым.

На следующее утро старик позвал меня в свою контору; он выслал из комнаты Веронику и смущенно вертел сигару в темных руках, потом он снял свою зеленую фетровую шляпу, чего никогда не делал раньше.

— Я позвонил капеллану Дерихсу, — сказал он, — и только от него узнал, что у тебя недавно умерла мать. Мы больше не будем говорить об этом, никогда не будем, слышишь? А теперь иди.

Я ушел, и когда вернулся обратно в мастерскую, то подумал: о чем, собственно, мы не будем говорить? О смерти матери? Я возненавидел старика еще сильней, чем прежде; причины этого я не знал, но был уверен, что причина есть. С тех пор об этой истории никогда не говорили, никогда, и я никогда больше не воровал — и не потому, что считал воровство нехорошим делом, а потому, что боялся, что они еще раз простят меня из-за смерти матери.

— Уходи, — сказал я Вольфу, — уходи.

— Мне жаль, — пробормотал он, — мне... я... Он посмотрел на меня такими глазами, словно до сих пор сохранил веру в хороших парней, и я произнес; — Ладно, не думай больше об этом, иди.

Вольф напоминал теперь людей, которые в сорок лет теряют то, что они называют своими идеалами; он стал уже несколько рыхлым, был приветлив, и в нем самом было некоторое сходство с тем, что разумеют под выражением «хороший парень».

— Что же мне сказать отцу?

— Это он послал тебя?

— Нет, — ответил Вольф, — но я знаю, что он очень сердится и постарается разыскать тебя, чтобы поговорить о заказе для «Тритонии».

— Я еще не знаю, что будет дальше.

— Действительно не знаешь?

— Да, — повторил я, — действительно не знаю.

— Верно ли то, что говорят работницы фрау Флинк, ты бегаешь за какой-то девушкой?

— Да, — ответил я, — это верно, что говорят работницы: я бегаю за девушкой.

— О господи, — произнес он, — тебя не следует оставлять одного со всеми твоими деньгами в кармане.

— Это как раз необходимо, — сказал я очень тихо. — Теперь иди и, пожалуйста, — прибавил я еще тише, — не спрашивай меня больше, что тебе говорить отцу.

Он ушел; я видел, как он проходил мимо витрины, опустив руки, словно боксер, который отправляется на безнадежную схватку. Я обождал, пока он скроется за углом Корбмахергассе, а потом остановился в открытых дверях кафе и ждал до тех пор, пока не увидел, что виквеберов-ская машина проехала по улице по направлению к вокзалу. Вернувшись в заднюю комнату, я стоя выпил свою чашку кофе и сунул третью булочку в карман. Я посмотрел на часы, но теперь уже на верхнюю часть циферблата, где беззвучно и медленно двигалось время; я надеялся, что сейчас уже половина шестого или шесть часов, но было всего только четыре. Сказав молодой женщине за стойкой «до свидания», я пошел назад, к машине; из щелки между передними сиденьями выглядывал кончик записки: утром я записал всех клиентов, к которым должен был попасть. Открыв дверцу машины, я вытащил записку, разорвал ее и выбросил клочки в сток для воды. Больше всего мне хотелось опять перейти на противоположный тротуар и глубоко, глубоко погрузиться в воду, но, представив себе это, я покраснел, подошел к двери дома, в котором жила Хедвиг, и нажал кнопку звонка; я нажал два-три раза подряд, а потом еще раз и стал ждать, пока за дверью раздастся звонок, но звонка не было слышно, и я нажал кнопку еще два раза и снова не услышал звонка; мне опять стало страшно, так же страшно, как было, прежде чем я перешел на другую сторону вокзальной лестницы к Хедвиг, но потом я услышал шаги, шаги, которые никак не могли принадлежать фрау Гролта, торопливые шаги по лестнице и по парадному; Хедвиг открыла мне дверь; она была выше, чем я предполагал, почти одного роста со мной, и, очутившись внезапно так близко друг к другу, мы оба испугались. Она отступила назад, придерживая дверь: я знал, как тяжела эта дверь, потому что нам пришлось держать ее, когда мы вносили стиральные машины к фрау Флинк, пока она не явилась сама и не заложила дверь на крючок.

— На двери есть крючок, — сказал я.

— Где? — спросила Хедвиг.

— Здесь, — ответил я, постучав по двери с наружной стороны, повыше дверной ручки; на несколько секунд левая рука и лицо Хедвиг скрылись в темноте за дверью. Потом яркий свет с улицы осветил Хедвиг, и я начал внимательно разглядывать ее; я знал, как ей было страшно, ведь я разглядывал ее, словно картину, но она выдержала мой взгляд, только слегка опустила нижнюю губу; она смотрела на меня так же внимательно, как я на нее, и я почувствовал, что мой страх пропал. Я снова ощутил боль оттого, что ее лицо так глубоко проникало в меня.

— Тогда, — проговорил я, — вы были блондинкой.

— Когда это? — спросила она.

— Семь лет назад, незадолго до того, как я уехал из дома.

— Да, — сказала она, улыбаясь, — тогда я была белокурой и малокровной,

— Сегодня утром я искал белокурую девушку, — сказал я, — а вы все это время сидели позади меня на чемодане.

— Не так уж долго, — возразила она, — я уселась как раз перед тем, как вы подошли. Я вас сразу узнала, но не хотела заговаривать первой. — Она опять улыбнулась.

— Почему? — спросил я.

— Потому, что у вас было такое сердитое лицо, и потому, что вы показались мне очень взрослым и важным, а я боюсь важных людей.

— Что вы подумали? — спросил я,

— Да ничего, — сказала она, — я подумала: так вот, значит, какой он, этот молодой Фендрих; на карточке у вашего отца вы выглядите гораздо моложе. О вас нехорошо говорят. Кто-то рассказывал мне, что вы совершили кражу.

Она покраснела, и я ясно увидел, что теперь она совсем не малокровная: лицо у нее стало таким пунцовым, что мне было невыносимо смотреть на нее.

— Не надо, — проговорил я тихо, — не надо краснеть. Я действительно украл, но это было шесть лет назад, и я... я бы сделал это снова. Кто вам об этом рассказал?

— Мой брат, — ответила она, — а он совсем не плохой парень.

— Да, он совсем не плохой парень, — повторил я, — и когда я ушел от вас, вы думали о том, что я совершил кражу.

— Да, — сказала она, — я думала об этом, но недолго.

— А все же сколько? — спросил я.

— Не знаю, — ответила она, улыбаясь, — я думала еще о других вещах. Мне хотелось есть, но я боялась сойти вниз, потому что знала — вы стоите у двери.

Я вытащил булочку из кармана пиджака; улыбнувшись, она взяла ее, быстро разломила пополам, и я увидел, как ее большой палец, белый и крепкий, глубоко вошел в мякиш, как в подушку. Она съела кусочек булки, но, прежде чем она успела откусить еще один, я проговорил:

— Вы не знаете, кто рассказал вашему брату о моей краже?

— Ва'м это очень важно знать?

— Да, — проговорил я, — очень важно.

— Должно быть, люди, которых вы... — онд покраснела, — у которых это произошло. Брат сказал мне: «Я знаю об этом из первых уст». — Она съела второй кусочек хлеба и, глядя в сторону, тихо прибавила: — Мне жаль, что я вас прогнала тогда, но я испугалась. И в тот момент я вовсе не думала об истории, которую мне рассказывал брат.

— Мне даже хочется, — сказал я, — чтобы та кража была настоящей, но самое скверное заключается в том, что это я просто по-дурацки вел себя. Тогда я был еще слишком молод, слишком робок, теперь у меня получилось бы лучше.

— Вы ни капельки не раскаиваетесь? Да? — спросила она, кладя себе в рот еще кусочек хлеба.

— Нет, — сказал я, — ни капельки; только после того, как это обнаружилось, получилась некрасивая история, и я не мог защищаться. Они меня простили, а. знаете ли вы, как это приятно, когда вам прощают что-нибудь, в чем вы вовсе не чувствуете себя виноватым?

— Нет, — сказала она, — не знаю, но могу себе представить, как это скверно. Нет ли у вас, — спросила она, улыбаясь, — нет ли у вас случайно еще хлеба в кармане? А что вы, собственно, с ним делаете? Кормите птиц, или, может быть, вы боитесь голода?

— Я постоянно боюсь голода, — ответил я. — Хотите еще хлеба?

— Да, — сказала она.

— Пойдемте, — предложил я, — я куплю вам.

— Можно подумать, что ты находишься в пустыне, — сказала она, — уже семь . часов, как я не держала во рту ни крошки.

— Пойдемте, — повторил я.

Она умолкла и перестала улыбаться. — Я пойду с вами, — проговорила она медленно, — если вы дадите сло» во, что никогда больше не войдете ко мне в комнату так неожиданно и с такой массой цветов.

— Обещаю вам это, — сказал я.

Она нагнулась за дверью и отбросила кверху крючок, и я услышал, как крючок ударился о стенку.

— Это недалеко, — сказал я, — сразу за углами, пойдемте.

Но она по-прежнему стояла, придерживая спиной закрывающуюся дверь, и ждала, пока я не пройду вперед. Я пошел немного впереди нее, время от времени оборачиваясь, и только теперь я заметил, что она захватила с собой сумочку. На этот раз в кафе за стойкой стоял мужчина, нарезавший большим ножом свежий яблочный пирог; коричневая решетка из теста на зеленом яблочном джеме была совсем мягкой, и, боясь повредить ее, мужчина осторожно вонзал нож в пирог. Мы молча стояли рядышком около стойки и наблюдали за его движениями.

— Здесь бывает, — сказал я тихо Хедвиг, — еще куриный бульон и суп с мясом.

— Да, — произнес мужчина, не поднимая глаз. — Это у нас можно получить. — Из-под его белой шапочки выбивались черные густые волосы, от него пахло хлебом, каг; от крестьянки — молоком.

— Нет, — сказала Хедвиг, — не надо супа. Лучше пирог.

— Сколько порций? — спросил мужчина. Отрезав последний кусок, он одним движением вытащил нож из пирога и с улыбкой оглядел свою работу.

— Спорим? — предложил он, и его узкое смуглое лицо сморщилось в улыбке. — Спорим, что все куски совершенно одинаковы по величине и по весу. Самое большее, — он отложил нож в сторону, — самое большее — разница в два-три грамма, этого не избежишь. Спорим?

— Нет, — ответил я, улыбаясь, — не стану спорить, ведь в этом споре я наверняка проиграю.

Пирог был похож на круглое решетчатое окошечко собора.

— Наверняка, — сказал мужчина, — вы наверняка проиграете. Сколько вам порций?

Я вопросительно взглянул на Хедвиг. Улыбаясь, она произнесла:

— Одной будет слишком мало, а двух — слишком много.

— Значит, полторы, — сказал мужчина.

— А так можно заказать? — спросила Хедвиг.

— Ну, конечно, — ответил он, схватил нож и разрезал один кусок пирога точно посередине.

— Значит, каждому по полторы порции, — сказал я, — и кофе.

На столике, за которым мы сидели с Вольфом, еще стояли чашки, а на моей тарелке лежали хлебные крошки. Хедвиг села на стул, где сидел Вольф; я вынул из кармана пачку сигарет и протянул ей.

— Нет, спасибо, — сказала она. — После, может быть.

— Об одной вещи, — произнес я, садясь, — я все же должен вас спросить, я собирался спросить об этом еще вашего отца, но, конечно, у меня не хватило духу.

— О чем же? — спросила она.

— Как получилось, — сказал я, — что ваша фамилия Муллер, а не Мюллер?

— Ах, — ответила она. — Это глупая история, из-за нее я часто злюсь.

— Почему? — спросил я.

— Моего дедушку звали Мюллер, но он был богат, и его фамилия казалась ему слишком обычной, он заплатил бешеные деньги, чтобы превратить «ю» в «у». Я ужасно сердита на него.

— Почему?

— Потому что я предпочла бы называться Мюллер, лишь бы иметь деньги, которых ему стоило это превращение ни в чем не повинного «ю» в «у». Я бы хотела иметь сейчас эти деньги, тогда мне не пришлось бы стать учительницей.

— Вы не хотите быть учительницей? —спросил я.

— Нельзя сказать, что не хочу, — сказала она. — Но и не жажду. А отец говорит, мне надо стать учительницей, чтобы иметь возможность прокормить себя.

— Если хотите, — проговорил я тихо, — я буду вас кормить.

Она покраснела, и я был рад, что наконец произнес эти слова и что мне удалось сказать их именно в такой форме. Но все же я обрадовался, что в комнату вошел мужчина и подал нам кофе. Он поставил кофейник на стол, убрал грязную посуду и спросил:

— Не хотите ли сбитых сливок к пирогу?

— Да, — сказал я, — дайте нам сливок.

Он ушел, и Хедвиг налила кофе; краска еще не сошла с ее лица, и, минуя ее взглядом, я смотрел на картину, висевшую на стене над ее головой, — то был снимок мраморного памятника какой-то женщине; я часто проезжал мимо этого памятника, но никогда не знал, кого он изображает, и я обрадовался, прочитав под фотографией: «Памятник императрице Августе»; теперь я знал, кто была эта женщина.

Хозяин принес нам пирог. Я налил себе молока в кофе, размешал, взял ложечкой кусок пирога и обрадовался, что Хедвиг тоже начала есть. Теперь она уже не была красной; не поднимая глаз от тарелки, она произнесла:

— Странный способ кормить: много цветов и одна булочка — и та на ходу.

— А потом, — возразил я, — пирог со сливками и кофе, а вечером то, что моя мать называла приличной едой.

— Да, — сказала она, — и моя мать говорила, что хотя бы раз в день я должна прилично поесть.

— Часов в семь, ладно? — сказал я.

— Сегодня? — спросила она. — Да.

— Нет, — проговорила она, — сегодня вечером я не могу. Я должна пойти в гости к одной родственнице отца, она живет на окраине и уже давно ждет, что я переселюсь в город.

— Вам хочется идти к ней? — спросил я.

— Нет, — ответила Хедвиг, — она из тех женщин, которые с первого взгляда определяют, когда вы в последний раз стирали свои занавески, и самое скверное, что она всегда угадывает. Если бы она увидела нас с вами, то сказала бы: этот человек хочет тебя соблазнить.

— И на этот раз она угадала бы, — сказал я, — я хочу вас соблазнить.

— Знаю, — ответила Хедвиг, — нет, мне не хочется идти к ней.

— Не ходите, — попросил я, — мне бы хотелось еще раз встретиться с вами сегодня вечером. И вообще лучше не ходить к людям, которые не нравятся.

— Хорошо, — согласилась она, — я не пойду, но, если я не пойду, она явится ко мне и захватит меня с собой. У нее своя машина, и она поразительно деятельная женщина, или нет — решительная, так про нее говорит отец.

— Я ненавижу решительных людей, — сказал я.

— Я тоже, — ответила Хедвиг. Она доела свой пирог и ложкой подобрала сливки, которые сползли на тарелку.

— Я никак не решусь пойти туда, где мне надо быть в шесть часов, — сказал я. — Я хотел встретиться с девушкой, на которой когда-то собирался жениться, и сказать ей, что не женюсь на ней.

Она взялась было за кофейник, чтобы налить еще кофе, но вдруг остановилась и сказала:

— Это зависит от меня, скажете вы ей это сегодня или нет?

— Нет, — ответил я, — только от меня одного. При всех обстоятельствах я должен ей это сказать.

— Тогда пойдите и скажите. А кто она?

— Это та девушка, — начал я, — у отца которой я воровал, и, наверное, она же рассказала обо мне человеку, говорившему с вашим братом.

— О, значит, вам будет легче! — воскликнула Хедвиг.

— Даже слишком легко, — сказал я, — почти так же легко, как отказаться от подписки на газету, если тебе жаль не самой газеты, а только почтальоншу, которая из-за этого получит меньше чаевых.

— Идите, — проговорила она, — а я не пойду к знакомой отца. Когда вам надо уходить?

— Около шести, — сказал я, — но сейчас нет даже пяти.

— Я посижу одна, — предложила Хедвиг, — а вы разыщите писчебумажный магазин и купите мне открытку: я обещала писать домой каждый день.

— Хотите еще кофе? — спросил я.

— Нет, — ответила она, — лучше дайте мне сигарету. Я протянул ей пачку, и она взяла сигарету. Я дал ей прикурить и, расплачиваясь в другой комнате, видел, как она сидит и курит; я заметил, что она курит редко, заметил это по тому, как она держала сигарету и пускала дым, и когда я возвратился к ней, она подняла глаза и произнесла:

— Идите же.

И я опять вышел; напоследок я увидел, как она открывала свою сумочку; подкладка в сумочке была такая же зеленая, как ее пальто.

Пройдя через всю Корбмахергассе, я свернул за угол на Нетцмахергассе; стало прохладно, и в некоторых витринах уже горел свет. Мне пришлось пройти всю Нетцмахергассе, пока я не нашел писчебумажный магазин.

На старомодных полках в магазине были беспорядочно навалены товары, на прилавке лежала колода карт; кто-то, очевидно, взял ее, но обнаружил брак и положил рядом с разорванной оберткой колоды испорченные карты: бубновый туз, на котором немного стерлась большая бубна в середине карты, и надорванную девятку пик. Тут же валялись шариковые ручки, а рядом лежал блокнот, на котором покупатели их пробовали. Опершись локтями о прилавок, я разглядывал блокнот. Он был испещрен росчерками и диковинными закорючками, кто-то написал название улицы: «Бруноштрассе», — но большинство изображало свою фамилию, и в начальных буквах нажим был сильнее, чем в конце; я явственно различил подпись «Мария Келиш», написанную твердым округлым почерком, а кто-то другой подписался так, словно он воспроизводил речь заики: «Роберт БРоберт БрРоберт Брах»; почерк был угловатый и трогательно старомодный, и мне казалось, что это писал старик. «Хейнрих» — нацарапал кто-то, и дальше тем же почерком — «незабудка», а еще кто-то вывел толстым пером авторучки слова: «старая халупа».

Наконец пришла молодая женщина; приветливо кивнув мне, она сунула колоду с двумя бракованными картами обратно в коробку.

Сперва я попросил у нее открыток с видами, пять штук, п взял пять верхних открыток, из целой пачки, которую она положила передо мной; на открытках были изображены парки и церкви и на одной — не известный мне па™ мятник, он назывался «Памятник Нрльдеволю»: отлитый из бронзы мужчина в сюртуке разворачивал свернутую трубочкой бумагу, которую он держал в руках.

— Кто был этот Нольдеволь? — спросил я молодую женщину, подавая ей открытку, которую она вместе с остальными вложила в конверт. У женщины было очень дружелюбное румяное лицо и темные волосы с проборем посередине, и она выглядела так, как выглядят женщины, которые хотят уйти в монастырь.

— Нольдеволь, — ответила она, — построил северную часть города.

Северная часть города была мне знакома. Высокие дома, где сдавались квартиры внаем, до сих пор пытались сохранить свой облик бюргерского жилья 1910 года; по улицам здесь кружили трамваи: широкие зеленые вагоны казались мне такими же романтичными, какими моему отцу, наверное, казались в 1910 году почтовые кареты.

— Спасибо, — сказал я и про себя подумал: «За это, значит, раньше ставили памятники».

— Не желаете ли еще чего-нибудь? — спросила женщина.

— Да, дайте мне, пожалуйста, еще коробку почтовой бумаги, ту, большую, зеленую.

Она открыла витрину и, вынув коробку, смахнула с нее пыль.

Я наблюдал за тем, как она сматывала оберточную бумагу с большого рулона, висевшего позади нее на стене, и меня поразили ее красивые маленькие, очень белые руки; и вдруг я вынул из кармана авторучку, открыл ее и написал свое имя под именем Марии Келиш в блокноте, где покупатели пробовали шариковые ручки. Не знаю, зачем я это сделал, но мне показалось необычайно заманчивым увековечить свое имя на этом листке. 64

— О, — заметила женщина, — может быть, вы хотите наполнить ручку?

— Нет, — пробормотал я, чувствуя, что краснею, — нет, спасибо, я ее совсем недавно наполнил.

Она улыбнулась, и мне показалось даже, что она поняла, почему я это сделал.

Я положил деньги на прилавок, вынул из кармана пиджака свою чековую книжку, заполнил на прилавке чек на сумму в двадцать две марки пятьдесят пфеннигов, надписав наискосок «В порядке расчета», вытащил из конверта открытки, вложенные женщиной, сунул их в карман, а в конверт положил чек. Конверт был самый дешевенький, из тех, что получаешь от налогового управления или от полиции. Пока я надписывал конверт, адрес Виквебера начал расплываться; я перечеркнул его и медленно написал снова.

Взяв одну марку из сдачи, поданной мне женщиной, я подвинул ее обратно и сказал:

— Дайте мне, пожалуйста, почтовых марок: одну десятипфенниговую и одну «В помощь нуждающимся».

Она открыла ящик, вынула из маленькой тетрадки марки и подала их мне, а я наклеил марки на конверт.

Мне хотелось истратить побольше денег; я оставил сда-. чу на прилавке и окинул испытующим взглядом полки: там лежали еще общие тетради, такие, в каких мы писали в техникуме; я выбрал тетрадь в переплете из мягкой зеленой кожи и подал ее через прилавок женщине, чтобы она завернула. Она снова стала раскручивать рулон оберточной бумаги, и, взяв в руки маленький сверток, я понял, что Хедвиг никогда не использует эту тетрадь для записывания лекций.

Пока я шел по Нетцмахергассе, мне казалось, что этот день никогда не кончится; только лампы в витринах горели чуть ярче. Я бы с удовольствием истратил еще больше денег, но ни одна из витрин не привлекала меня; я немного задержался только перед лавкой гробовщика, посмотрел на слабо освещенные темно-коричневые и черные ящики и пошел дальше; свернув опять на Корбмахергассе, я вспомнил об Улле. С ней вовсе не будет так легко, как мне только что казалось. Я это понял; она уже давно и хорошо знала меня, но и я знал ее: целуя Уллу, я видел иногда за ее гладким красивым девичьим лицом мертвый череп, в который превратится когда-нибудь голова ее отца; череп в зеленой фетровой шляпе.

Вместе с ней я обманывал старика значительно более хитрым и прибыльным способом, нежели во время той истории с электрическими плитками; спекулируя железным ломом, который добывала целая бригада рабочих, обшаривая под моим началом развалины домов, предназначенных на слом, мы зарабатывали весьма неплохо, и впрямь большие деньги; часть комнат, куда мы влезали по высоким приставным лестницам, осталась совершенно цела, и мы находили ванные и кухни,где все было как новое: колонки и бачки для горячей воды сохранились вплоть до последнего винтика, на эмалированных крючках иногда еще висели полотенца и на стеклянных полочках лежали рядышком губная помада и бритвенный прибор; в ваннах еще была вода, а мыльная пена, похожая на хлопья извести, осела на дно; в чистой воде плавали резиновые зверушки, которыми играли дети, задохнувшиеся в подвалах; я смотрелся в зеркала, куда в последний раз в жизни смотрелись люди, погибшие несколько минут спустя, в зеркала, в которых я от злости и отвращения разбивал свое собственное лицо молотком; серебряные осколки осыпали бритвенные приборы и трубочки губной помады; я вытаскивал пробки из ванн, и вода падала вниз через четыре этажа, а резиновые зверушки медленно опускались на известковое дно ванны.

Однажды мы нашли швейную машину; иголка была еще воткнута в кусок коричневой материи, из которой шили штанишки какому-то мальчугану; и никто не понял, почему я сбросил швейную машину вниз в открытую дверь, мимо лестницы, чтобы она разбилась о каменные глыбы и обломки стен; но охотнее всего я уничтожал свое собственное лицо в найденных нами зеркалах; серебряные осколки рассыпались, как звонкие каскады воды. И так продолжалось до тех пор, пока Виквебер не стал удивляться, почему среди добычи от мародерских набегов никогда не встречалось ни одного зеркала; и бригада рабочих для обследования руин была передана другому подмастерью.

Но они послали меня, когда разбился один из учеников, забравшийся ночью в разрушенный дом, чтобы вытащить оттуда электрическую стиральную машину. Никто не мог понять, как ему удалось попасть на третий этаж; но он попал туда и начал спускать на веревке большую, как комод, стиральную машину, но сорвался вместе с ней. Когда мы пришли, его тачка еще стояла на улице, освещенная солнцем. Прибыла полиция, и кто-то уже мерил длину веревки и, качая головой, смотрел наверх в открытую кухонную дверь, через которую был виден веник, прислоненный к выкрашенной синей краской стене. Стиральная машина раскололась, как орех, барабан выкатился наружу; но мальчик, упавший на груду полусгнивших матрасов, погребенный среди морской травы, казалось, даже не был ранен; его горько сжатый рот был таким же, как всегда, — то был рот голодного человека, который не верит в справедливость на этой земле; звали его Алоис Фруклар, и к Виквеберу он поступил всего три дня назад. Я отнес его тело в машину из морга, и какая-то женщина, стоявшая на улице, спросила меня:

— Это ваш брат?

— Да, это мой брат, — ответил я.

А после обеда я видел, как Улла, обмакнув перо в чернильницу с красными чернилами, вычеркнула с помощью линейки его фамилию из платежной ведомости; чер-. та, проведенная ею, была ровной и аккуратной и такой же красной, как кровь, как воротник на портрете Шарнгор-ста, как губы Ифигении,как изображение сердца на червонном тузе.

Хедвиг обхватила голову руками; ее зеленый джемпер поднялся кверху; руки Хедвиг упирались в стол, словно две бутылки, сжавшие своими горлышками ее лицо; округлость лица Хедвиг приходилась как раз на то место, где горлышки суживались; глаза у нее были темно-карие, но в глубине просвечивало что-то светло-желтое, почти такого же цвета, как мед; и я увидел, что моя тень упала на ее глаза. Но она по-прежнему смотрела куда-то мимо меня: она видела ту переднюю, где я был ровно двенадцать раз с тетрадями по иностранным языкам и о которой сохранил лишь неясное, расплывчатое воспоминание; видела красноватый линкруст, а может быть, темно-коричневый, потому что в переднюю всегда проникало мало света; портрет своего отца в студенческой шапочке и диковинную подпись какой-то корпорации, кончавшуюся на «...ония»; ощущала запах мятного чая и табака, видела полочку для нот; на одной из нотных тетрадей, лежавшей сверху, я как-то прочел: «Григ. «Танец Анитры».

Сейчас я хотел бы знать эту переднюю так же хорошо, как ее знала Хедвиг; я пытался вспомнить предметы, уже, быть может, позабытые мной; я вспарывал свою память, как вспарывают подкладку пиджака, чтобы вытащить оттуда монетку, которую удалось обнаружить на ощупь, монетку, ставшую вдруг бесконечно ценной, потому что она — единственная и последняя; на эту монетку можно купить две булочки, одну сигарету или трубочку мятных конфет; пряная сладость белых, похожих на церковные облатки конфет может заглушить голод; я. словно накачивал воздух в легкие, отказывающиеся работать.

А когда распорешь подкладку, в руках у тебя оказываются пыль и волоски шерсти и ты нащупываешь пальцем бесценную монету, и, хотя точно знаешь, что там всего десять пфеннигов, тебе хочется верить, что ты найдешь целую марку. Но то были только десять пфеннигов, я обнаружил их, и им не было цены... над входом висело распятие, а перед ним — лампадка, мне было видно это, только когда я выходил из квартиры.

— Идите, — сказала Хедвиг, — я подожду вас здесь. Вы недолго? — Она говорила, не глядя на меня.

— Это кафе, — заметил я, — закрывается в семь.

— А вы разве придете позже семи?

— Нет, — ответил я, — наверняка нет. Вы будете здесь?

— Да, — проговорила она, — я буду здесь. Идите. Я положил на стол открытки, а рядом с ними марки и вышел; я пошел обратно на Юденгассе и, сев в машину, бросил оба свертка с подарками для Хедвиг на заднее сиденье. Я понял, что все это время боялся своей машины так же, как боялся своей работы, но с ездой все было в порядке, как с курением: ведь я курил, пока стоял на другой стороне улицы, гЛядя на входную дверь; сев в машину, я машинально начал делать все, что требовалось: нажимал кнопки, тянул рычажки, опускал рукоятку и подымал ее кверху. Я вел сейчас машину так, как вел бы ее во сне, — все шло хорошо, тихо и спокойно, и мне казалось, что я еду по безмолвной земле.

Проезжая по перекрестку, там, где Юденгассе пересекала Корбмахергассе, по направлению к Рентгенплатц, я увидел, что зеленый джемпер Хедвиг мелькнул и скрылся в сумерках, где-то в глубине Корбмахергассе; и я развернулся прямо на перекрестке и поехал за ней. Сперва она бежала, потом обратилась к какому-то человеку, который переходил через улицу с буханкой хлеба под мышкой. Я затормозил, потому что подъехал к ним вплотную, и увидел, что мужчина жестами что-то ей объясняет. Хедвиг побежала дальше, и пока она бежала по Нетцмахергассе, до писчебумажного магазина, где я покупал открытки, и пока заворачивала за угол в незнакомую мне темную маленькую улочку, я медленно следовал за ней. Теперь она перестала бежать, черная сумочка болталась у нее на руке, и я на секунду включил дальний свет, потому что иначе не мог окинуть взглядом улицу; но когда яркий свет фар упал на портал маленькой церковки, куда как раз входила Хедвиг, я покраснел от стыда. Я почувствовал^ себя так же, как должен чувствовать себя человек, который снимал кинофильм, и, внезапно прорезав ночную тьму лучом прожектора, застиг врасплох обнимающуюся парочку.

III

Я быстро объехал вокруг церкви, развернулся и поехал на Рентгенплатц. Ровно в шесть я был там; сворачивая на Рентгенплатц с Чандлерштрассе, я заметил, что Улла уже стоит около мясной лавки; я видел ее все то время, что медленно продвигался по площади, зажатый между другими автомобилями, пока мне не удалось повернуть и поставить машину. Она 'была в красном непромокаемом плаще и в черной шляпке, и я вспомнил, как однажды сказал, что она мне очень нравится в красном плаще. Я поставил, машину где пришлось, и когда подбежал к Улле, она прежде всего сказала:

— Там нельзя ставить. Это может влететь тебе в двадцать марок.

По лицу Уллы я понял, что она уже говорила с Вольфом: на ее розовую кожу легли черные тени. Над головой Уллы в витрине мясной лавки, между двумя кусками сала, среди ваз и мраморных этажерок, возвышалась пирамида из консервных банок, на этикетках которых ярко-красными буквами было написано: «Мясо».

— Оставь машину, — заметил я, — у нас и так мало времени.

— Ерунда, — возразила она, — дай мне ключ. Напротив освободилось место.

Я дал ей ключ и наблюдал за тем, как она села в мою машину и ловко перевела ее с того места, где стоянка не разрешалась, на противоположную сторону площади, откуда только что отъехала чья-то машина. Потом я подошел к почтовому ящику на углу и опустил письмо ее отцу.

— Какая ерунда, — повторила она, возвращаясь и передавая мне ключ, — будто у тебя есть лишние деньги.

Вздохнув, я подумал о бесконечно долгом браке с Ул-лой, браке на всю жизньг в который чуть было не вступил.

Лет тридцать-сорок подряд она бросала бы мне упреки, словно камни, которые бросают в колодец; и как бы она удивлялась, что эхо из колодца становится все глуше и короче, и наконец исчезает совсем; как бы удивлялась, что из колодца вырастают камни; и все то время, что мы шли с Уллой к кафе Йос за углом, мне неотвязно мерещился колодец, изрыгавший камни.

— Ты говорила с Вольфом? — спросил я. И она ответила: — Да!

У входа в кафе я взял ее под руку и сказал: — Стоит ли нам говорить?

— О да, нам стоит говорить! — воскликнула она, втолкнув меня в кафе Йос, и когда я отбрасывал в сторону войлочную портьеру, то понял, что наша встреча здесь для нее очень много значила: в этом кафе я часто бывал вместе с ней и Вольфом еще в то время, когда учился на вечерних курсах, а после сдачи экзаменов и окончания техникума оно по-прежнему оставалось местом наших встреч; мы выпили здесь несчетное количество чашек кофе и съели несчетное количество порций мороженого; и увидев, как улыбается Улла, стоя рядом со мной и отыскивая глазами свободный столик, я понял, что она думала заманить меня в ловушку; все было здесь на ее стороне: стены и столики, стулья, запахи и лица кельнерш; она хотела бороться со мной на этой сцене, где каждая кулиса была ее кулисой, но она не знала, что я вычеркнул из памяти эти три или четыре последних года, хотя только вчера мы еще сидели с ней здесь вместе; я отбросил эти годы, как человек отбрасывает вещь, казавшуюся ему в тот момент, когда он прятал ее, бесконечно важной и ценной; он поднял камешек на вершине Монблана, чтобы сохранить его на память о том дне, когда внезапно с легким головокружением осознал, чего он достиг; но потом вдруг выбросил этот серый камешек из окна движущегося поезда — совсем обычный камешек, величиной со спичечную коробку, который выглядит так же, как миллиарды тонн камней на этой земле, — и камешек полетел на рельсы, смешавшись со щебнем на полотне.

Накануне вечером мы засиделись здесь допоздна: она привезла меня сюда после вечерней мессы; я вымыл в туалете грязные от работы руки, съел пирожок и выпил вина, и в одном из карманов моих брюкг в самом низу, под деньгами, еще лежал счет, который мне подала кельнерша. На нем было написано: «Шесть марок пятьдесят восемь пфеннигов». И девушку, подавшую счет, я тоже увидел: она стояла в глубине кафе, прикрепляя к стенду вечерние газеты.

— Сядем? —спросила Улла.

—— Хорошо, — ответил я, — сядем.

Фрау Йос стояла за стойкой, раскладывая серебряными щипцами шоколадные конфеты в хрустальных вазах. Я надеялся, что нам удастся избежать ее приветствия, — Фрау Йос очень любит здороваться с нами, ибо она «симпатизирует молодежи», — но она вышла к нам навстречу из-за стойки, протянула обе руки и, пожав мои руки повыше кисти, потому что я держал в них ключ от машины и шляпу, воскликнула:

— Как приятно, что вы опять пришли!

Я почувствовал, что краснею, и смущенно посмотрел в ее красивые миндалевидные глаза, в которых без труда можно было прочесть, как я нравлюсь женщинам. Ежедневная возня с шоколадными конфетами, чьим хранителем она является, придала фрау Йос какое-то сходство с ними: она похожа на шоколадную конфетку и кажется такой же сладкой, чистенькой, аппетитной, а ее изящные пальчики, постоянно орудующие серебряными щипцами, всегда немного растопырены. Она маленького роста, и походка у нее прыгающая, как у птички, две белые пряди волос, зачесанные с висков назад, всегда напоминают мне полоски из марципанов на некоторых сортах шоколадных конфет; в ее голЪве — в этом узком яйцевидном черепе — хранится вся топография распространения шоколадных конфет в нашем городе: она точно знает, кто из наших женщин какие конфеты любит, и чем можно особенно порадовать любого, поэтому фрау Йос — постоянная советчица всех наших кавалеров, доверенное лицо больших магазинов, которые по праздникам преподносят подарки женам своих богатых клиентов. Ей известно, кто из мужей и жен собирается нарушить супружескую верность и кто ее нарушил, судя по тому, какие наборы конфет потребляют эти ее клиенты; она сама составляет новые наборы и очень ловко вводит их в моду.

Фрау Йос подала руку Улле и улыбнулась ей; я сунул ключ от машины в карман, и тогда, оставив Уллу, она еще раз протянула мне руку.

Посмотрев в ее красивые глаза более внимательно, я постарался представить себе, как бы она разговаривала со мной, если бы я пришел к ней семь лет назад и попросил кусок хлеба, — и я увидел, что ее глаза суживаются, становятся жесткими и колючими, как глаза гусыни; увидел, что ее очаровательные, изящно растопыренные пальчики судорожно сжимаются, словно когти; увидел, как эти маленькие холеные ручки сморщиваются и желтеют от скупости, и я так резко выдернул свою руку из ее рук, что фрау Йос испугалась и, качая головой, вернулась к стойке: теперь ее лицо походило на шоколадную конфету, которая упала в грязь и из которой начинка медленно вытекает в канаву — совсем не сладкая, а кислая начинка.

Улла потянула меня прочь, и по ржаво-красной ковровой дорожке мы прошли мимо людей за столиками в глубь кафе, туда, где она заприметила два незанятых стула. Ни одного свободного столика не было, только эти два стула за столиком на три человека. Там сидел какой-то мужчина с сигарой и читал газету; при каждом выдохе сквозь пепел сигары пробивался тонкий светло-серый дымок и частички пепла сыпались на его темный костюм.

— Здесь? — спросил я.

— Все остальное занято, — ответила Улла.

— По-моему, —сказал я, —все же лучше было бы пойти в другое кафе.

Она бросила взгляд, полный ненависти, на мужчину за столиком, огляделась вокруг; и я заметил, что в ее глазах вспыхнул торжествующий огонек, когда какой-то мужчина за угловым столиком встал, чтобы подать жене голубое пальто. Для Уллы — я еще раз почувствовал это, идя за ней, — было необычайно важно, чтобы наш разговор произошел именно здесь. Она бросила сумочку на стул, где еще лежала коробка с туфлями, принадлежавшая женщине в голубом пальто, и, покачав головой, женщина в голубом пальто, взяла свою коробку и пошла к выходу, вслед за мужем, который остановился в проходе между столиками, чтобы расплатиться с кельнершей.

Улла сдвинула грязную посуду и села на стул в углу, я сел рядом с ней, вынул из кармана пачку сигарет и протянул ей; она взяла сигарету, я дал ей прикурить, закурил сам и взглянул на грязные тарелки со следами сливочного крема и косточками от вишен, на остаток серовато-молочной жидкости в одной из кофейных чашек.

— Я должна была это предвидеть, — сказала Улла, — уже тогда, когда наблюдала за тобой через стеклянную стену, отделявшую бухгалтерию от фабрики. Как ты обхаживал молодых работниц, чтобы получить часть их завтрака; одна из них — она обматывала якоря — была такая маленькая, уродливая девица, немного рахитичная, с нездоровым лицом, вся в прыщах; она давала тебе половину своего бутерброда с повидлом, и я наблюдала, как ты запихивал его в рот.

— Ты еще не все знаешь: я ее целовал и ходил с ней в кино и в темноте держал ее руки в своих; она умерла, когда я сдавал экзамены на подмастерье. Чтобы принести цветы на могилу, я истратил всю свою недельную получку. Надеюсь, она простила мне кусок хлеба с повидлом.

Улла молча посмотрела на меня, потом отодвинула грязную посуду еще дальше, а я опять придвинул ее, потому что одна тарелка чуть было не упала на пол.

— Вы, — сказал я, — даже не нашли нужным послать венок на ее могилу или хотя бы отправить ее родителям открытку с соболезнованием, но я полагаю, что ты перечеркнула ее фамилию в платежной ведомости красными чернилами, аккуратной прямой чертой.

К нам подошла кельнерша, составила тарелки и чашки на поднос и спросила:

— Кофе, конечно?

— Нет, — ответил я, — спасибо, мне не надо. — А мне надо, — сказала Улла.

— А вам что? — спросила девушка.

— Все равно, — проговорил я устало.

— Дайте герру Фендриху чашку мятного чаю, — сказала Улла.

— Да, — согласился я, — дайте мне чаю.

— Боже мой, — воскликнула девушка, — но ведь у нас нет мятного чая, только черный!

— Хорошо, принесите, пожалуйста, черного, — произнес я, и девушка отошла.

Я посмотрел на Уллу и поразился, как уже часто поражался прежде, когда ее полные красивые губы становились такими узкими и тонкими, словно линии, которые она проводила по линейке.

Сняв с руки часы, я положил их рядом с собой на стол; было десять минут седьмого, а я должен был уйти без четверти семь и ни минутой позже.

— Я бы с удовольствием уплатил те двадцать марок, чтобы поговорить с тобой на две минуты дольше, я бы охотно подарил тебе на прощанье эти две минуты, как два особенно дорогих цветка, но ты сама себя обокрала. Для меня эти две минуты стоили двадцать марок.

— Да, — проговорила она, — ты стал благородным господином, даришь цветы по десять марок за штуку.

— Да, — сказал я, — я считал, что так надо, ведь мы никогда ничего не дарили друг другу. Никогда, правда?

— Да, — подтвердила она, — мы ничего не дарили друг другу. Мне всегда внушали, что подарок надо заслужить, и я ни разу не подумала, что ты его заслужил, да и я тоже, наверное, не заслужила.

— Нет, — сказал я, — и мой единственный подарок, хотя ты его и не заслужила, мой единственный подарок ты отвергла. И когда мы вместе ходили куда-нибудь, — прибавил я тихо, — мы ни разу не забыли взять справку о том, что с нас удержали налоги, мы брали ее по очереди — один раз ты, другой — я. И если бы на поцелуи выдавались счета, ты бы и эти счета подшивала в папку.

— На поцелуи выдаются счета, — сказала она, — и когда-нибудь тебе их предъявят.

Девушка подала Улле кофе, а мне чай, и мне казалось, что вся эта процедура длится вечность; прошла целая вечность, прежде чем она поставила на стол тарелки и чашки, молочники и блюдечки с сахаром, рюмочку для яйца, полагавшегося к чаю, и еще маленькую тарелочку, на которой лежали маленькие серебряные щипчики, сжимавшие своими зубчиками микроскопический ломтик лимона.

Улла молчала, и я боялся, Что она закричит; однажды я слышал, как она кричала, когда отец отказался дать ей доверенность. Время совсем не двигалось: было тринадцать минут седьмого.

— К черту, — тихо произнесла Улла, — убери хотя бы часы!

Я закрыл часы карточкой меню.

Мне казалось, что я уже тысячи раз все это видел, слышал и обонял, словно то была пластинка, которую люди, жившие этажом выше, заводили каждый вечер в одно и то же время, словно то был фильм — один и тот же фильм, — который всегда показывают в аду; и все, чем пахло здесь — кофе, потом, духами, ликером и сигаретами, — и все слова, которые произносил я сам и произносила Улла, уже повторялись несчетное число раз; слова наши были лживыми, от них оставался привкус фальши, так же как от тех, что я произносил, когда рассказывал отцу о «черном рынке» и о своем голоде: стоило только произнести их, как все сказанное становилось неправдой; и внезапно я вспомнил, как Елена Френкель давала мне хлеб с повидлом; вся эта сцена так явственно возникла передо мной, что, казалось, я ощутил вкус дешевого красного повидла; и я затосковал по Хедвиг и по темно-зеленой тени моста, в которой исчез Юрген Броласки.

— Я еще не совсем это понимаю, — сказала Улла, — ибо, по-моему, все, что ты делаешь, ты делаешь из-за денег. Или, может, у нее есть деньги?

— Нет, — ответил я, — у нее нет денег, и она знает, что я воровал; кто-то из вас рассказал эту историю, а тот человек передал все брату этой девушки. Вольф тоже только что напомнил мне об этом.

— Да, — произнесла она, — и хорошо сделал, ты теперь стал такой благородный, что, наверное, уже начал забывать, как таскал электрические плитки, чтобы купить себе сигарет.

— И хлеб, — сказал я, — и хлеб, которого ни ты, ни твой отец мне не давали, только Вольф время от времени. Он никогда не знал голода, но если мы работали вместе, он отдавал мне свой хлеб. Я думаю, — тихо прибавил я, — что если бы ты хотя бы один-единственный раз дала мне хлеба, я не смог бы сейчас сидеть здесь и так говорить с тобой.

— Мы всегда платили больше, чем полагалось по расценкам, и каждый, кто работал у нас, получал паек, а на обед — суп без карточек.

— Да, — повторил я, — вы всегда платили больше, чем полагалось по расценкам, и каждый, кто работал у вас, получал паек, а на обед — суп без карточек.

— Подлец! — воскликнула она. — Неблагодарный подлец!

Я снял карточку с часов, но еще не было половины седьмого, и я снова прикрыл часы.

— Посмотри еще раз внимательно платежные ведомости, — сказал я, — ведомости, которые ты сама вела; прочитай еще раз все фамилии, произнеси их вслух, громко и благоговейно, как читают молитвы, и после каждой фамилии скажи: «Прости нас!»,. — а потом сложи все фамилии вместе и полученное число помножь на тысячу буханок хлеба, а произведение — еще на тысячу, и тогда ты узнаешь, сколько проклятий накопилось в банке на текущем счету твоего отца. Измерить их можно только одной мерой: хлебом, хлебом ранних лет; эти годы в моих роспоминаниях окутаны густым туманом; суп, который вы нам давали, медленно колыхался в наших желудках и подымался кверху, горячий и кислый, когда мы по вечерам тряслись в трамвае по дороге к дому, — это была отрыжка бессилия; и единственным удовольствием, доступным нам, была ненависть; моя ненависть, — прибавил я тихо, — уже давно улетучилась, прошла, как отрыжка, давившая когда-то на мой желудок. Ах, Улла, — тихо произнес я, в первый раз посмотрев ей прямо в лицо, — неужели ты действительно хочешь убедить меня, внушить мне, что тарелки супа и небольшой прибавки к жалованью было достаточно? Хочешь этого? Вспомни хотя бы большие свертки в промасленной бумаге.

Она помешала кофе, снова взглянула на меня и протянула мне свою пачку сигарет; я взял сигарету, дал ей прикурить и закурил сам.

— Меня даже не трогает то, что вы рассказывали о моей мифической краже, но неужели ты всерьез хочешь убедить меня, что все мы, все, кто значился в ваших платежных ведомостях, не имели права время от времени получить несколько лишних кусков хлеба?

Она все еще молчала, глядя куда-то в сторону, и я сказал:

— Приезжая домой, я тбгда крал у отца книги, чтобы купить себе хлеба. Эти книги он любил и собирал, из-за них он сам голодал в студенческие годы; —книги, за которые он платил столько же, сколько за двадцать буханок хлеба, я продавал за полбуханки, — это те проценты, которые нам приходится платить от минус двухсот до бесконечности.

— И мы тоже, — произнесла Улла тихо, — мы тоже платим проценты, проценты, — прибавила она еще тише, — о которых ты даже не знаешь.

— Да, — сказал я, — вы их платите, и даже сами не предполагаете, как они высоки; но я брал книги не выбирая, вернее, выбирал какие потолще; у отца было так много книг, что я думал, он не заметит; только потом я узнал, что он хорошо помнил каждую книгу, как пастух свое стадо; и одна из этих книг была крохотная, ветхая и безобразная; за ту цену, что мне дали за нее, можно было купить коробок спичек, а потом я узнал, что она стоила столько же, сколько целый вагон хлеба. После отец попросил меня — и, говоря со мной об этом, он покраснел — предоставить продажу книг ему, и он продавал их сам, а деньги посылал мне, и я покупал на них хлеб...

При слове «хлеб», она вздрогнула, и мне стало жаль ее.

— Побей меня, если хочешь, — проговорила она, — можешь выплеснуть мне в лицо чай и говори, продолжай говорить, ведь раньше ты никогда не хотел говорить, но, прошу тебя, не произноси ты больше слово «хлеб», избавь меня от этого, пожалуйста, — прошептала она, и я тихо ответил:

— Извини, больше не буду.

Я опять взглянул на нее и испугался: та Улла, что сидела рядом со мной, менялась на глазах под действием ыоих слов, моих взглядов, под действием маленькой стрелки, продолжавшей сверлить внизу под карточкой; это была уже не прежняя Улла, которой я предназначал свои слова. Я думал, что она будет много говорить и окажется правой, на свой, жестокий лад, но на самом деле говорил все время я, и правым, но жестоким оказался тоже я.

Она посмотрела на меня, и я понял, что потом, когда она пройдет мимо темной мастерской к дому своего отца, по дорожке, усыпанной гравием и обсаж-енной кустами бузины, с ней произойдет то, чего я меньше всего ожидал, — она заплачет, а плачущей Уллы я не знал.

Я думал, она будет торжествовать, но торжествовать пришлось мне, и я ощутил во рту кислый вкус торжества.

Так и не притрагиваясь к кофе, она вертела в руках ложечку; услышав ее голос, я испугался.

— Я бы охотно дала тебе чек на любую сумму, лишь бы ты списал свои проклятья с нашего счета, — сказала она. — Не так уже приятно знать, что все годы ты думал об этих вещах и подсчитывал проклятья, ни слова не говоря мне.

— Я не думал об этом все время, — возразил я. — Дело обстоит иначе, лишь сегодня, может быть только сейчас, я вспомнил о проклятьях; ты сыплешь красную краску в источник, чтооы узнать, как далеко бежит питаемый им ручей, но иногда проходят годы, прежде чем ты обнаружишь воду, окрашенную в красный цвет там, где вовсе этого не ожидал. Сегодня в ручьях течет кровь, лишь сегодня я понял, куда девалась та красная краска.

— Возможно, ты прав, — проговорила она, — я тоже лишь сегодня, лишь сейчас поняла, что мне безразличны деньги, мне ничего не стоит дать тебе второй чек. да еще свою чековую книжку впридачу, с которой ты мог бы взять любую сумму, меня бы это не огорчило; а ведь я всегда думала, что это меня огорчит. Может, ты и прав, но теперь уже поздно.

— Да, — ответил я, — теперь уже поздно, — и ты видишь, что лошадь, на которую хотела поставить тысячу марок, пришла к финишу первой, ты еще держишь в руке белый листок, заполненный на эту лошадь, он мог бы принести тебе целое состояние, если бы ты поставила на нее, но ты не поставила, и бумажка потеряла всякую цену, и нет смысла хранить ее на память.

— Остается лишь тысяча марок, — сказала она, — но ты бы, наверное, выбросил и эту тысячу вместе с бланком в канаву.

— Да, — согласился я, — наверно, я бы так и поступил. Я налил молоко в чашку с холодным чаем и выжал туда

лимон, наблюдая за тем, как молоко свертывалось и опускалось желтовато-серыми хлопьями вниз. Я протянул Ул-ле сигарету, но она покачала головой, мне тоже не хотелось курить, и я убрал сигареты. Слегка приподняв меню со своих часов, я увидел, что было без десяти семь, и опять быстро прикрыл часы карточкой, но она заметила это и произнесла:

— Иди, а я еще останусь.

— Подвезти тебя домой? — спросил я.

— Нет, — ответила она, — я еще посижу. Уходи. Но я все еще не вставал.

— Дай мне руку, — сказала она, и я дал ей руку. Секунду она подержала мою руку, не глядя на нее, и вдруг отпустила, прежде чем я успел сообразить, что она ее отпустит, — и рука ударилась о край стола.

— Прости, — проговорила она, — этого я не хотела, нет.

Я почувствовал острую боль в руке, но поверил, что она сделала это не нарочно.

— Я часто смотрела на твои руки, когдаты держал инструменты или прикасался к приборам, я наблюдала,

как ты разбирал машины, совсем не знакомые тебе: изучал их и снова собирал. Было видно, что ты просто-таки создан для своей профессии и что ты ее любишь, и лучше было дать тебе самому заработать свой хлеб, чем дарить его.

— Я не люблю свою профессию, — сказал я, — я ее ненавижу, как боксер ненавидит бокс.

— Теперь иди, — попросила она. — Иди! — И я пошел, не сказав больше ни слова, ни разу не оглянувшись; так я шел до самой стойки, а потом повернулся и, остановившись в проходе между столиками, рассчитался с кельнершей за кофе и за чай.

IV

Когда я снова ехал на Юденгассе, стало темно, и все еще был понедельник; я ехал очень быстро. Но было уже семь часов, и я не подумал о том, что с семи часов закрывается проезд по Нуделбрейте; не зная, что предпринять дальше, я кружил неподалеку от этой улицы по темным незастроенным кварталам и снова оказался у церкви, где в последний раз видел Хедвиг.

Я вспомнил, что они обе — и Хедвиг и Улла — сказали мне: «Иди!»

Я опять проехал мимо писчебумажного магазина и лавки гробовщика на Корбмахергассе и очень испугался, увидев, что в кафе уже погашен свет. Я хотел было поехать дальше, на Юденгассе, но в последний момент заметил зеленый джемпер Хедвиг в дверях кафе и так резко затормозил, что машину швырнуло вперед и она скользнула по полосе глины, там, где разобрали и опять засыпали мостовую; левой рукой я ударился о ручку дверцы. Обе руки у меня болели, когда я вылезал из машины и в темноте шел навстречу Хедвиг; она стояла одна в дверях в той же позе, в какой стояли девушки, иногда заговаривавшие со мной по вечерам, когда я проходил по темным улицам; она была без пальто, в одном ярко-зеленом джемпере; темные волосы обрамляли ее белое лицо, но еще белей, ослепительно белой казалась ее шея в маленьком, напоминавшем листок вырезе джемпера, а ее рот выглядел так, словно его нарисовали черной тушью.

Она не шевелилась, не говорила ни слова, не смотрела на меня, и я молча взял ее за руку и рывком увлек за собой к машине.

У машины уже собрался народ, потому что скрип тормозов врезался в тишину улицы, подобно звуку трубы, и я быстро открыл дверцу и чуть ли не силой втолкнул Хед-виг в машину, а сам поспешно сел с другой стороны и рванул машину с места. Лишь через минуту, когда вокзал остался далеко позади, я улучил время, чтобы взглянуть на Хедвиг. Она была бледна как смерть и держалась прямо, словно статуя.

Я подъехал к фонарю и остановил машину. На улице было темно, и круг света от фонаря падал в парк, выхватывая из темноты круглый кусок зеленого газона; кругом не слышалось ни звука.

— Какой-то человек заговорил со мной, — произнесла Хедвиг; я испугался, потому что она по-прежнему смотрела прямо перед собой, словно статуя, — какой-то человек. Он хотел увезти меня или уйти со мной, и на вид был такой симпатичный; под мышкой он держал портфель, и зубы у него были немного желтые от табака, он был старый — лет тридцати пяти, не меньше, — но симпатичный.

— Хедвиг! — воскликнул я, но она не глядела на меня; только после того, как я схватил ее за руку, она повернула голову и тихо промолвила:

— Сейчас ты отвезешь меня домой... — И я был потрясен, с какой непреложностью прозвучало это «ты» в произнесенной ею фразе.

— Конечно, я отвезу тебя домой, — сказал я, — о боже мой.

— Нет, постой еще минутку, — произнесла она. И посмотрела на меня, посмотрела внимательно, так внимательно, как я смотрел на нее, но теперь я боялся на нее взглянуть. Пот выступил у меня на лице, и я почувствовал боль в обеих руках, и этот день, этот понедельник показался мне невыносимо длинным, слишком длинным для одного дня; я понял, что мне не надо было уходить из ее комнаты: я открыл эту землю, но все еще не поставил на ней опознавательного знака. Земля была прекрасной, но чужой, такой же чужой, как и прекрасной.

— Господи, — тихо сказала она, — я так рада, что ты еще симпатичней его. Гораздо симпатичнее, а булочник совсем не такой симпатичный, каким он казался. Ровно в семь он меня выгнал. Тебе не следовало опаздывать. А теперь поедем, — прибавила она.

Я ехал медленно, и темные улицы, по которым мы проезжали, казались мне тропинками среди болота, где машина каждую секунду могла утонуть; я ехал так осторожно, словно вез взрывчатку, и я прислушивался к ее голосу, ощущал прикосновение ее руки к моей, и чувствовал себя почти так же, как должен чувствовать себя человек, выдержавший испытание в день страшного суда.

— Я чуть было не пошла с ним, — сказала она. — Ему еще надо было продержаться совсем немного, но он не продержался. Он хотел на мне жениться, хотел развестись с женой, у него есть дети, и он симпатичный, но, когда фары твоей машины осветили улицу, он убежал. Он стоял со мной всего минуту и быстро шептал, как шепчут люди, у которых мало времени; у него было мало времени — всего минута, и за эту минуту я успела прожить с ним целую жизнь; я упала в его объятья и снова высвободилась из них; я родила ему детей; я штопала ему носки; по вечерам, когда он приходил домой, я брала у него из рук портфель, и когда он уходил, целовала его; я радовалась вместе с ним тому, что он вставил себе зубы; когда он получил прибавку к жалованью, мы устроили маленькое семейное торжество: я испекла пирог, мы пошли в кино, и он купил мне новую красную шляпу, цвета вишневого джема; он делал со мной то, что ты хотел сделать, и мне были приятны его неумелые ласки; я видела, как он менял костюмы: он начал носить по будням свой выходной костюм, когда мы купили ему новый, но потом и этот костюм износился и мы опять купили ему новый; дети подросли и тоже начали одевать темно-красные шляпки цвета вишневого джема; и я запрещала им то же, что всегда запрещали мне самой, — гулять под дождем, запрещала по той же причине, по какой это запрещалось мне, — потому что от дождя быстро портится одежда... Я овдовела, и фирма выразила мне свое соболезнование. Он был калькулятором на шоколадной фабрике и как-то вечером поведал мне, сколько заработала фирма на шоколадных конфетах «Юсупов»; она заработала много, и он приказал мне не болтать об этом, но я не удержалась: на следующее утро я рассказала в молочной, сколько заработала его фирма на шоколадных конфетах «Юсупов». Ему надо было продержаться всего минутку или две, но он не продержался, он убежал, когда твоя машина завернула за угол, убежал быстро, как заяц. «Не думайте, фрейлейн, что я человек без образования», — сказал он мне.

Я еще убавил скорость, потому что левая рука у меня сильно болела, а правая начала немного опухать; на Юденгассе я выехал так медленно, словно продвигался по мосту, который мог обвалиться.

— Что ты хочешь? — спросила Хедвиг. — Ты хочешь здесь остановиться?

Я посмотрел на нее так робко, как смотрел, наверное, тот человек.

— Ко мне нельзя, — сказала она, — там меня поджидает Хильда Каменц. Я видела в комнате свет, и ее машина стоит у парадного.

Я медленно проехал мимо парадной двери, мимо коричневой двери, которая снова встанет у меня перед глазами, когда появится из темной камеры, отпечатанная на бумаге; я увижу целые кипы бумаги с изображением этой двери, подобные кипам новых марок, выпускаемых государственной типографией. Перед дверью стояла темно-красная машина.

Я вопросительно взглянул на Хедвиг.

— Хильда Каменц, — объяснила она, — знакомая моего отца. Заезжай за угол; из окна моей комнаты я видела, что на соседней улице пустырь, в том месте мостовая совсем темная, с глиняной полосой посередине, и я уже представила себе, что ты лежишь там мертвый: так я боялась, что ты больше не вернешься.

Я свернул и поехал на Корбмахергассе, все еще не прибавляя скорости, и мне казалось, что я уже никогда не смогу ездить быстро. Пустырь начинался через несколько домов после булочной, и мы увидели заднюю стену дома, где жила Хедвиг; часть стены закрывали высокие деревья, но один вертикальный ряд окон был виден снизу доверху: на первом этаже в окне было темно, на втором этаже — горел свет и на третьем — тоже.

— Вот моя комната, — произнесла Хедвиг. — Если она откроет окно, мы увидим ее силуэт; ты, как слепой, попался бы в эту ловушку, и она бы утащила нас в свою квартиру; у нее чудесная квартира, такая красивая, какими бывают квартиры, случайно ставшие красивыми, но ты с первого взгляда заметишь, что случайность эта ловко подстроена, и ты почувствуешь себя так, будто уходишь из кино, совершенно захваченный картиной, а в это время кто-то, подходя к раздевалке, говорит: «Неплохой фильм, но музыка так себе...» Вот она стоит...

Я опять перевел взгляд с лица Хедвиг на окно ее комнаты и увидел силуэт женщины в остроконечной шляпке, и, хотя глаз ее совсем не было видно, мне показалось, что она смотрит на нашу машину и глаза у нее, как у женщин, которые любят наводить порядок в жизни других людей.

— Поезжай домой, — предложила Хедвиг, — поезжай... Я очень боюсь, что она заметит нас, здесь, внизу, и если мы попадемся ей в лапы, то нам придется весь вечер просидеть в ее квартире и пить ее замечательный чай; бесполезно надеяться даже на то, что проснутся ее дети и она будет с ними возиться, — потому что у нее образцовые дети, которые спят с семи вечера до семи утра. Поезжай. Ее мужа и то нет дома: он уехал, обставляет где-то за плату квартиры чужим людям, и эти квартиры тоже выглядят так, словно они получились красивыми случайно. Поезжай!

Я поехал, проехал через Корбмахер- и Нетцмахергассе, медленно пересек Нуделбрейте, покружил по Рентгенплатц, бросив взгляд в витрину мясной лавки, где еще стояла пирамида из консервных банок с этикетками «Мясо», и снова подумал об Улле и о годах, которые провел с ней; эти годы стали теперь тесными, словно рубашка, севшая после стирки, — зато время, прошедшее с полудня, с минуты приезда Хедвиг, было совсем иным.

Я устал, у меня болели глаза; спускаясь по длинной и прямой Мюнхенерштрассе, я ехал по правой стороне улицы почти один; поток машин наперегонки мчался по левой стороне к стадиону, где проходили, кажется, соревнования по боксу или велосипедный кросс; машины с пронзительным торжествующим гудением обгоняли друг друга, а на меня долгое время падал свет их фар; яркий свет слепил глаза, от резкой боли я минутами стонал; мне казалось, что меня прогоняли сквозь строй между двумя бесконечно длинными рядами ослепительных пик, и каждая из них глубоко вонзалась в меня, терзая своим светом. Казалось, меня бичевали светом, и я вспомнил годы, когда, только успев проснуться утром, уже ненавидел свет; два года подряд я стремился выйти в люди: каждое утро я вставал в половине шестого, выпивал чашку горького чая, зубрил формулы или мастерил что-нибудь в маленькой мастерской в подвале — шлифовал, собирал и испытывал приборы, от которых часто так перегружалась электросеть, что в доме перегорала проводка и наверху раздавались возмущенные голоса жильцов, не успевших сварить себе кофе. Рядом со мной на письменном столе или на верстаке стоял будильник, и лишь по его звонку, только в восемь часов, я подымался наверх, принимал душ и шел на кухню к хозяйке, чтобы взять себе завтрак; прежде чем большинство людей садилось завтракать, у меня уже были позади два с половиной часа работы. Я то ненавидел, то любил эти два часа, но никогда не пропускал их. Зато потом, когда я садился завтракать в своей светлой комнате, мне часто казалось, будто меня бичуют светом, так же как казалось сейчас.

Мюнхенерштрассе была длинной, и я обрадовался, когда мы наконец миновали стадион.

Хедвиг заколебалась, она колебалась всего мгновение, пока машина замедляла ход; я открыл дверцу, подал ей руку и, шатаясь, стал подниматься впереди нее по лестнице.

Было половина восьмого, и мне почудилось, что этот понедельник и есть вечность, а на самом деле не прошло еще одиннадцати часов, как я ушел из дома.

Я прислушался к тому, что происходило в квартире; дети хозяйки смеялись за ужином; теперь я понял, почему с трудом передвигал ноги, поднимаясь по лестнице: комья глины налипли на мои ботинки; и туфли Хедвиг тоже были измазаны глиной из той ямы, посредине Корбмахергассе.

— Я не буду зажигать свет, — сказал я Хедвиг, входя в свою комнату. Глаза у меня болели нестерпимо.

— Хорошо, — произнесла она, — не зажигай. И я закрыл за ней дверь.

В комнату падал свет из окон дома на другой стороне улицы, и я различил на своем письменном столе листки бумаги, на которых фрау Бротиг отмечала вызовы. На листках лежал камень, я снял камень и, взвесив его в руке, словно метательный снаряд, открыл окно и бросил его в палисадник; было слышно, как он катился в темноте по газону и стукнулся о мусорное ведро. Я оставил окно открытым, пересчитал в темноте записки — их было семь, — порвал их, а клочки выбросил в корзинку для бумаг.

— У тебя есть мыло? — спросила Хедвиг у меня за спиной, — я хочу помыть руки, у меня в комнате вода была ржавая и грязная.

— Мыло лежит на нижней полочке слева, — ответил я. Потом я вытащил сигарету, закурил, и когда обернулся, чтобы потушить спичку и бросить ее в пепельницу, то увидел в зеркале лицо Хедвиг: ее рот походил на рот, нарисованный на бумажных салфеточках, которыми я обтирал бритвенные лезвия; вода журчала —. она мыла руки; я слышал, как она терла их одну о другую. Я все ждал чего-то, и когда в дверях раздался легкий стук, то понял, чего именно я ждал. Стучала хозяйка; я быстро подошел к двери, наполовину приоткрыл ее и выскользнул в коридор.

Она только что . развязала фартук и сейчас складывала его, и лишь в эту минуту, прожив у нее четыре года, я понял, что она немного похожа на фрау Витцель, совсем немного, но все-таки похожа. И лишь в эту минуту я впервые заметил, сколько ей лет — сорок наверняка, а может быть, и больше. Держа во рту сигарету, она трясла фартук, чтобы услышать, нет ли в кармане спичек, но спичек не оказалось, и я тоже тщетно хлопал себя по карманам — я оставил спички в комнате; я протянул ей горящую сигарету, она поднесла ее к своей, глубоко втянула в себя дым и вернула мне мою сигарету; она курит так, как обычно курят только мужчины, глубоко и жадно затягиваясь.

— Ну и денек был нынче, — проговорила она, — под конец я совсем перестала записывать; мне это казалось бессмысленным, ведь вы все равно исчезли. Как это вы не вспомнили о той бедной женщине на Курбельштрассе?

Я пожал плечами, глядя в ее серые, чуть раскосые глаза.

— Вы купили букетик цветов?

— Нет, — ответил я, — я забыл о них.

Она помолчала и, в смущении крутя сигарету между пальцами, прислонилась к стене, и я понял, как трудно ей было сказать то, что она намеревалась сказать. Я хотел ей помочь, но не находил нужных слов; она потерла левой рукой лоб и произнесла:

— Ваш ужин на кухне.

Но мой ужин всегда был на кухне, и я сказал:

— Спасибо, — и, глядя мимо нее, на узор обоев, тихо ил: — Ну что ж, я слушаю.

— Мне неприятно, — произнесла она, — мне неудобно и мучительно говорить вам это: я не желала бы... я не желаю, чтобы девушка осталась у вас ночевать.

— Вы ее видели? — спросил я.

— Нет, — ответила она, — но я слышала, как вы оба пришли, было так тихо и... словом, я сразу все поняла. Она у вас останется?

— Да, — произнес я, — она... она — моя жена.

— Где же вас венчали? — Она так и не улыбнулась, а я смотрел на узор обоев, на эти оранжевые треугольники, и молчал.

— Ах, — повторила она тихо, — вы же знаете, что мне неприятно говорить это, но подобных историй я не выношу. Так не годится, и я должна вас предупредить, и не только предупредить, это невозможно, я...

— Бывают экстренные свадьбы, — проговорил я, — так же, как экстренные крестины.

— Нет, — возразила она, — это уже фокусы. Мы не в пустыне и не на необитаемом острове, где нет священников.

— Мы, —сказал я, — мы оба в пустыне, мы оба на необитаемом острове, и я не знаю ни одного священника, который мог бы нас обвенчать.

Я закрыл глаза, потому что они все еще болели после истязания светом автомобильных фар; я устал, до смерти устал, руки у меня болели. Оранжевые треугольники плясали перед моими глазами.

— Может быть, вы знаете такого священника? — спросил я.

— Нет, — ответила фрау Бротиг, — не знаю.

Я взял пепельницу, стоявшую на стуле возле телефона, погасил в ней сигарету и протянул пепельницу фрау Бротиг; стряхнув пепел, она взяла пепельницу у меня из рук.

Никогда в жизни я не чувствовал себя таким усталым. Оранжевые треугольники, словно шипы, вонзались мне в глаза, и я ненавидел ее мужа, который покупает такие вещи, потому что они, по его понятиям, модные.

— Вам следовало бы хоть немного подумать об отце. Ведь вы его любите.

— Да, — произнес я, — я люблю его. и сегодня очень много думал о нем, — и я опять вспомнил отца, увидел, как он писал красными, как кровь, чернилами на

листе бумаги: «Поговорить с мальчиком».

Сперва я увидел Хедвиг в глазах хозяйки, увидел темную черточку в ее приветливых глазах. Я не обернулся и не взглянул на Хедвиг, но почувствовал, что ее рука легла мне на плечог ощутил дыхание Хедвиг и по запаху понял, что она подкрасила губы — приторно пахло помадой.

— Это фрау Бротиг, — проговорил я, — а это — Хедвиг.

Хедвиг, подала руку фрау Бротиг, и, когда рука фрау Бротиг очутилась на ее ладони, я заметил, какие у Хедвиг большие руки — белые и сильные.

Мы молчали все трое, и я услышал, что на кухне капала из крана вода, услышал мужские шаги на улице и понял по шагам, что этот человек кончил работу и идет домой; я все еще улыбался, улыбался, хотя не понимал, как мне это удается, потому что от усталости не в силах был шевельнуть —губами, чтобы изобразить на своем лице улыбку.

Фрау Бротиг снова поставила пепельницу на стул под телефоном и бросила рядом с ней фартук; над стулом поднялось легкое облачко пепла, и его мельчайшие частички, словно пудра, опустились на синий ковер. Она прикурила новую сигарету от старой и произнесла:

— Иногда я забываю, что вы еще молоды, но теперь уходите, не вынуждайте меня выставить ее за дверь. Уходите.

Я повернулся и втащил Хедвиг за руку в комнату; пошарив в потемках, чтобы найти ключ от машины, я обнаружил его на письменном столе, и мы снова спустились по лестнице в своих грязных ботинках; я был рад, что не завел машину в гараж, а оставил ее на улице. Левая рука у меня почти онемела и немного опухла, а в правой я ощущал сильную боль от удара о край мраморного столика в кафе. Усталый и голодный, я медленно поехал обратно в город; Хедвиг молчала, она держала перед собой карманное зеркальце, и я увидел, что она смотрит только на свой рот; потом она вынула из сумочки помаду и медленными, четкими движениями еще раз подкрасила губы.

Проезд по Нуделбрейте был по-прежнему закрыт, и когда я опять поехал мимо церкви Нетцмахергассе по Корбмахергассе и остановился у пустыря возле булочной, еще не пробило восемь.

В комнате Хедвиг по-прежнему горел свет, я поехал дальше, увидел, что темно-красная машина все еще стоит у двери, и снова объехал весь квартал до пустыря на Корбмахергассе. Было тихо и темно, мы молчали; временами я ощущал острый голод, а потом он проходил, опять появлялся и снова проходил, сотрясая меня, словно подземные толчки во время землетрясения. Мне пришло в голову, что чек, который я послал Виквеберу, был теперь недействительным, и я подумал, что Хедвиг даже не спросила меня о моей профессии, что она не знала моего имени. Руки болели все сильней, и, когда я на секунду закрывал измученные глаза, мне казалось, что я проношусь сквозь бесконечность, заполненную оранжевыми треугольниками.

Я знал, что свет в комнате Хедвиг потухнет еще в этот день, до конца которого осталось всего четыре часа; шум мотора темно-красной машины умолкнет вдали; мне казалось, что я уже слышу его звук, слышу, как он буравиг ночь, оставляя позади себя тишину и темноту. Мы подымемся по лестнице, тихо откроем и закроем за собой двери... Хедвиг еще раз взглянула на свой рот, еще раз неторопливо и твердо прочертила его помадой, словно он был еще недостаточно красный, и теперь я понял то, что мне предстояло понять лишь потом.

Никогда раньше я не понимал, что бессмертен и в то же время так смертен; я слышал, как кричали дети, убитые в Вифлееме, и их крик сливался с предсмертным стоном Фруклара, стоном, так и не услышанным никем, но донесшимся сейчас до моего слуха; я обонял дыхание львов, разрывавших на части мучеников, ощущал их когти, впивавшиеся в мое тело, как шипы, ощущал соленый вкус моря, горечь капель, поднявшихся из бездонных морских глубин; я созерцал картины, вышедшие из своих рам, как река выходит из берегов, ландшафты, которых никогда не видел, и лица, которых не знал; и сквозь все эти картины мне сияло лнпо Хедвиг, я натыкался на лица Броласки, Елены Френкель и Фруклара. Но и сквозь них опять различал Хедвиг, сознавая, что ее образ вечен, что я увижу се лицо, накрытое полотенцем, которое она внезапно сорвет, чтобы показать себя Греммигу. Я не мог разглядеть в действительности лица Хедвиг, потому что ночь была очень темной, но для того, чтобы видеть это лицо, мне уже не надо было смотреть на него.

Из камеры-обскуры в моем сознании появлялись все новые и новые картины; я казался себе чужим и, склоняясь над Хедвиг, ревновал ее к самому себе; я видел незнакомого человека, который заговорил с ней, видел его желтые зубы и портфель; я видел Моцарта, улыбавшегося фрейлейн Клонтик — учительнице музыки, которая жила возле нас; а женщина с Курбелыитрассе беспрерывно плакала; и пока все эти картины проходили передо мной, все еще был понедельник; и я понял, что не хочу идти вперед; я хочу вернуться назад, сам не знаю куда, знаю только одно — назад.